

10 коп.

Индекс 70668

Всего 4 рубля 68 копеек стоит годовая подписка на серию «Библиотека «Огонек» — приложение к журналу, — одну из книжек которой Вы держите в руках. Еще не поздно подписаться на нее!

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек», 1991. № 4. 1—48.

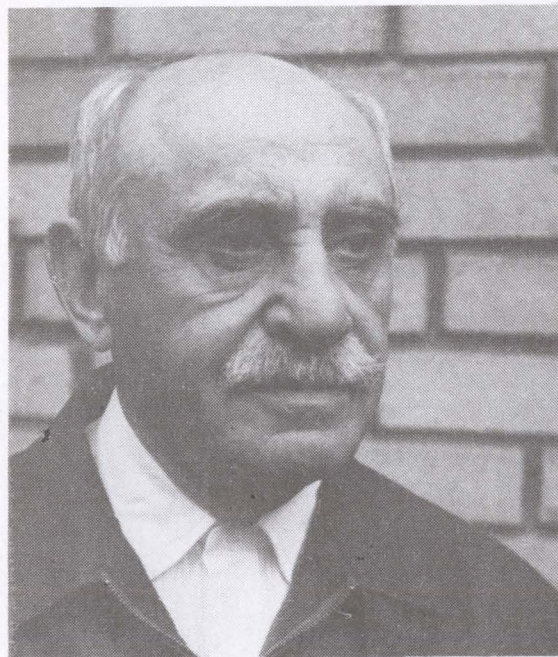
БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

МОСКВА

ISSN 0132-2095

№ 4 1991



*Семен ЛИПКИН*

**УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 4

Издается с января 1925 года

Семен ЛИПКИН

УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ  
ОГНЕМ

Зарисовки и соображения

Москва. 1991

## Семен ЛИПКИН

Семен Израилевич Липкин (1911 года рождения) — поэт, переводчик, прозаик. Печатается с 1929 года. До настоящего времени он выпустил лишь пять стихотворных сборников, причем два из них, наиболее полных, — в Америке.

В «Страничках автобиографии» Липкин пишет: «Двадцать пять лет, — и каких важных для молодого человека, для стихотворца —...мои стихи не печатались, их отвергла даже редакция первого «Дня поэзии». Я уже не имел сил огорчаться, но удивился: в «Дне поэзии» опубликовалось чуть ли не четыреста авторов, гораздо больше, чем осталось в русской литературе за всю ее историю, так неужели все эти четыреста пишут лучше меня?»

Официальная литература печатала лишь его превосходные переводы — воссоздание на русском языке памятников эпической поэзии — «Шахнаме» Фирдоуси, поэм Джами и Навои, эпоса калмыков «Джангар», киргизов — «Манас», татар — «Едигей», кавказских «Нартов», пространные эпизоды индийской «Махабхараты».

В прошлом году вышли две прозаические книги Липкина — «Декада» и «Жизнь и судьба Василия Гроссмана».

Участник движения «Апрель» Семен Липкин воскрешает в предлагаемых вниманию читателей «зарисовках и соображениях» образы своих друзей — поэтов Осипа Мандельштама и Георгия Шенгели.

Рукопись предоставлена движением «Писатели в поддержку перестройки» Аппель

## УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ

Ранней осенью 1931-го года я во второй раз в жизни увидел Мандельштама. Встреча произошла на Чистых Прудах. Небритое лицо его (бородки тогда еще не было) показалось мне помолодевшим от загара, — обычно он выглядел старше своих лет. В глазах, вместо им свойственной какой-то воспаленной, гневной тревоги, появилось выражение спокойствия, даже веселости. Это выражение, как я мог потом убедиться, вскоре исчезло. Я обрадовался тому, что он узнал меня. Услыхав, что я учусь на химическом факультете, он сказал: «Теперь вы стали благополучным советским студентом». Странная фраза должна быть объяснена.

Стипендия была крохотная, в общежитии на Стромынке, в бывшем Вдовьем доме, мы жили в комнатах по 6—8 (а то и больше) человек, уже была в стране введена карточная система, в столовой над каждым счастливецом, успевшим воссесть за тарелкой, томился напряженно ожидавший своей очереди, не хватало вилок и ложек (ножей не давали), чаем у нас назывался просто кипяток, — и все это Мандельштам именовал благополучием? Надо его понять. У студентов был быт, у Мандельштама быта не было. Студенты были веселы, молоды, здоровы, твердо верили в то, что живут как надо, что лучшее — впереди, а Мандельштам жил неуверенно и вряд ли знал, что впереди.

Конечно, он догадался, что я хочу прийти к нему со своими стихами (прямо сказать об этом я не посмел), и он был так внимательно-добр, что дал мне свой адрес, новый, не на одной из Бронных, где я у него был в первый раз, а поблизости от Чистых Прудов, если не ошибаюсь, в Старосадском переулке, назначил день, час.

Я с отроческих лет восхищался им. Стихи новых поэтов тогда к нам в провинцию доходили редко, книг почти не было, хотя, в то же время, «Версты» Цветаевой и «Тяжелую лиру» Ходасевича я приобрел на развал за гроши. О Мандельштаме я узнал от Багрицкого, моего старшего земляка и наставника. «Я лечу свою астму читая вслух Мандельштама», — как-то мне сказал Багрицкий, великомерно знавший и благоговейно любивший русскую поэзию. Я не расставался с книгой Мандельштама «Стихотворения», выпущенной Госиздатом в твердом, кирпичного цвета переплете. А до этого мне на глаза попался «Лёт» — сборник произведе-

ний советских прозаиков и поэтов о первых шагах отечественной авиации, и в сборнике неожиданно оказалось стихотворение Мандельштама «Ветер нам утешенье принес...», весьма условно соответствующее заданию сборника, и меня поразили ассирийские крылья стрекоз. Я не мог бы сказать толком, в чем была причина моего преклонения перед Мандельштамом, преклонения почти молитвенного. Мне нравилось как будто совсем другое — ясность, строгость, точность, девятнадцатый стихотворный век ценил выше двадцатого, а в двадцатом недосыгаемыми образцами казались мне Бунин, Ахматова, Ходасевич, Сологуб. И что-то чудное, волшебное, — «не радость, а мученье» — властно притягивало меня к Мандельштаму, и строки, которые я не понимал, были еще притягательней, чем строки, мне понятные, хотя футуристической зауми я уже тогда терпеть не мог.

Как-то в журнале «Молодая гвардия» сотрудник познакомил Мандельштама с рифмованным самотеком, и Мандельштам отметил мое, присланное из Одессы, стихотворение «Пригород», я получил от поэта ободряющую открытку, приглашение присылать ему стихи, и, таким образом, у меня возникла возможность, когда я вскоре приехал в Москву, попасть к нему. Мандельштамы жили не то у родственников, не то снимали комнату.

Мои рукописные листы Мандельштам разложил на три неравные стопки. О первой, самой большой, он ничего не сказал: значит, говорить не стоило. Перебирая гораздо меньшую вторую, указывал на неправильные ударения, банальности, но не сердился. Третья стопка состояла из трех стихотворений. Об одном, со сложным строфическим построением, сказал: «Здесь хороши только эти *о́е, о́е* (рифменные окончания), напоминают Белого». Другое прочел дважды, пристально, вскинув длинные, равнинские ресницы, посмотрел на меня, — стихотворение называлось «Петр и Алексей», — сказал: «Концепция, того-этого, не стала стихом. И после словесных открытий Тынянова уже нельзя так писать на темы русской истории». Вот как он разобрал начальную строфу:

У нас и недорослей, и ябед  
Хоть пруд пруди,  
Но все же страшен постылый Запад  
И боль в груди.

— Сперва пошло хорошо. Недоросли, ябеды — 18 век, Фонвизин, Капнист. На «ябед» найдена новая рифма, но вся строка с западом — перепев символистов, вернее — их славянофильствующих эпигонов, всяких родственников известных поэтов. Что же касается «боли в груди», то это уже вовсе Аполлон Коринфский. А дальше и того хуже. Ум острый, языка нет.

Третье стихотворение ему понравилось, — не по-настоящему, а как ученически-способное. Он при мне позвонил своему старому товарищу

по акмеистической группе М. А. Зенкевичу, который заведовал стихами в «Новом мире», и стихотворение это очень быстро появилось в журнале. Никаких напутственных слов он мне не сказал, только разрешил позвонить, подал мне, мальчишке, плащ, и когда я, раздавленный, пытался этому воспротивиться, сказал: «Есть английская поговорка: «В борьбе человека с пальто стань на сторону человека». До сих пор не знаю, действительно ли есть такая английская поговорка.

Разрешением позвонить я стеснялся воспользоваться, но вот помогала случайная встреча, я опять его увижу. Дом был доходный, высокий, дореволюционной хорошей постройки. Потом я узнал, что здесь жили родственники Мандельштама, своего жилья у него не было.

В широкой парадной было не очень светло, но я довольно ясно увидел человека лет тридцати, спускавшегося по лестнице мне навстречу. В руке он держал толстый портфель. Человек был явно чем-то напуган. Сверху низвергался высокий, звонко дрожащий голос Мандельштама:

— А Будда печатался? А Иисус Христос печатался?

Вот что произошло до моего прихода. Посетитель принес Мандельштаму свои стихи. Это была, по словам Мандельштама, обычная, довольно интеллигентная дребедень, с которой к Мандельштаму иногда приходили надоедать. Мандельштам рассердился на неудачного стихотворца еще и по той причине, что в этом виршеплетении была фронда, Мандельштам этого не выносил, во-первых, потому, что опасался провокации, а во-вторых — и это главное, — он считал, что поэзия не возникает там, где идут наперекор газете, как равно и там, где тупо следуют за газетой. Неумный автор стал жаловаться на то, что его не печатают, Мандельштам вышел из себя, он сам печатался с большим трудом, крайне редко, и выгнал посетителя. Когда я поднялся на указанный мне этаж, Мандельштама уже у перил не было (а я снизу видел, как он над ними, крича, наклонялся чуть ли не до пояса), мне открыла дверь длиннокосяя девушка и, впустив меня, посмотрела на меня жалостными восточными глазами.

Через много-много лет я рассказал о происшествии с Буддой и Христом Ахматовой, Анна Андреевна весело рассмеялась:

— Узнаю Осю.

Мандельштам успокоился не сразу.

— И почему вы все придаете такое значение станку Гутенберга? — характерным для него певчим и торжественным, при беззубом рте, голосом укорял он меня, и мне стало нехорошо оттого, что он как бы соединял меня с предыдущим посетителем. Я прочел несколько стихотворений, может быть, десять, и остановился. Мандельштам спросил:

— Сколько вам лет?

— Двадцать.

— Да, верно, в тот раз вам было восемнадцать, — неодобрительно вспомнил он и добавил:

— Плохо, плоско,— и дважды повторенный звук «пло» ударял особенно больно.— Вы кое-чему научились в столице, не стало южных обротот, больше теперь у вас, того-этого, заемного лоску. Вы мне напоминаете небогатого бессарабского помещика. Почти весь год он трудился, обрабатывал свои скудные виноградники, более или менее удачно продал виноград, и вот, в парусиновом длиннополом балахоне, в парусиновых сапогах, приехал в город, и все, что выручил, бессмысленно пропил в дешевой харчевне.

Он ругал меня еще долго и возбужденно, как бы с кем-то, более зрелым и значительным, споря, заодно досталось и моим друзьям, молодым поэтам Тарковскому и Штейнбергу, чьи стихи он однажды послушал, неожиданно стал нападать на «Столбцы» Заболоцкого, не помню, чем вызван был его гнев, в комнату вошла девушка, открывавшая мне дверь, может быть, его родственница, она мне понравилась, но взгляд ее, мне сочувствовавший, был, увы, взглядом существа высшего, пожалевшего существо низшее. А Мандельштам, уже при ней, продолжал:

— Мне в Армении рассказали легенду. Гончар лепит в своей хижине горшки из глины. Уже тех горшков стало столько, что они не умещаются в хижине, лежат вокруг навалом, а гончар все лепит да лепит. «Глупец, для чего ты лепишь горшки, их и так у тебя много!» — осуждают соседи. А гончар: «Чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их». Вы, того-этого, не оказались тем львом.

Я узнал, что Мандельштам недавно приехал из Армении, что он, после долгого перерыва, после «черной измены» стихам, вернулся к стихам.— Хотите, прочту,— и не дожидаясь ответа, уверенный в ответе, начал читать, потому что ему нужен был слушатель, очень нужен был слушатель, заменяющий станок Гутенберга.

Он был одинок. Я это понял, когда начал посещать его чаще. У него не было той, пусть в те годы негулкой, но светящейся славы, какая была у Ахматовой, и от которой сердца не только дряхлеют, но и утешаются, не было у него и внутрилитературной, но достаточно мощной славы Пастернака, его почитали немногие, почитали восторженно, но весьма немногие, и, большей частью, люди его поколения или чуть-чуть моложе, а среди моих ровесников почитателей было раз-два и обчелся. А он нуждался в молодежи, хотел связи с временем, он чувствовал, он знал, что он в новом времени, а не в том, которое ушло. Он не любил тех, кто любил его ранние стихи, хотя вряд ли ему было бы приятно, если бы кто-нибудь стал их бранить в его присутствии. Он не терпел своих подражателей, в особенности таких, которые обидно легко усваивали и присваивали манеру его письма. Он ощущал себя не в прошлом, даже не в настоящем, а в будущем. Внешне рано постарев, он дышал, как почти никто из современных ему поэтов, аквилонном грядущего, тем странством, где не сани правоведа катятся, а лопастью пропеллер лоснится. Он сам был тем львом, который ударом лапы разбивал горшки гончара.

Мандельштам служил в газете «Московский комсомолец», редакция помещалась сперва на Старо-Басманной (ныне улица Карла Маркса), потом переехала в здание на Тверской, где теперь театр имени Ермоловой. Я стал у него бывать и в том, и в другом зданиях. На Тверской размещались и редакции других газет. В широком зале с верхним, если не ошибаюсь (давно там не был) освещением, — нечто вроде пассажа, — была устроена для газетчиков столовая. Как-то мы с Мандельштамом сидели за столиком. К нам приблизились поэт-переводчик Давид Бродский и поэт Николай Ушаков, оба — знакомые Мандельштама и мои. Действие происходило в пору известного конфликта Мандельштама с Горнфельдом. Группком писателей (союза тогда еще не было) стал на сторону Горнфельда, Мандельштам был этим оскорблен, и, поднявшись навстречу двум литераторам, церемонно, но твердо произнес:

— Товарищи, к глубокому моему сожалению, я не могу подать вам руки, поскольку вы являетесь членами московского группкома писателей, подло оскорбившего меня.

Большой, толстый Бродский в ответ протянул свою руку и соврал:

— Я не член группкома.

— Это меняет дело, — с радостью сказал Мандельштам и поздоровался с переводчиком. Тогда стеснительный Ушаков, смущенно улыбаясь, тоже протянул руку:

— Собственно говоря, я в этом смысле тоже не член группкома, я киевлянин.

Мандельштам и ему пожал руку. Конечно, он понимал, что его обманывают, но понимал и то, что обманывают его ради общения с ним. Да и я, с которым он обедал, состоял в группкоме. Мандельштам вовсе не хотел ссориться с двумя литераторами, он, измученный, через их посредство хотел дать знать обществу, как остро его ранила несправедливая позиция группкома в деле Горнфельда. Я не буду касаться существа дела, оно известно по мандельштамовской «четвертой прозе» и по другим литературным источникам, скажу только, что Мандельштам — в который раз! — показал, что он не понимает людей, не видит среди них себя, не в силах взглянуть на себя их глазами. Он полагал: я виноват, но я извинился перед Горнфельдом, я, Мандельштам, перед каким-то Горнфельдом, и материальная сторона ссоры решается для Горнфельда хорошо, чего же он хочет? А Горнфельд, несчастный калека, в прошлом — влиятельный критик народнического толка, близкий сотрудник самого Короленко, придерживался в советское время благородных демократических взглядов, что же касается литературных, то они, думаю, были такими, что Мандельштам представлялся ему пустым декадентом. А Мандельштам никогда не был эпиком, его характер не позволял ему взглянуть на себя со стороны, у него не было бесслезной силы и надменной выдержки Ахматовой. Я это увидел ясно, когда — один из горсточки сторонников обвиняемого — присутствовал на товарищеском суде над Мандельштамом в полуподвале дома Герцена.



Произошла, неточно говоря, жилищная склока. Сосед Мандельштама по дому Герцена, печатавшийся под именем Амира Саргиджана, обвинил Мандельштама в том, что он нанес пощечину его, Саргиджана, жене, но скрыл, что сначала он сам ударил Мандельштама и Надежду Яковлевну. В рукоприкладстве Мандельштама я сомневаюсь. Он мог больно оскорбить женщину, но не ударить. Амир Саргиджан принадлежал к самому опасному виду некоторых наших сограждан: неглуп, начитан, в обращении мягок, позволял себе вольности, обсуждая литературное начальство. Его жена тоже что-то писала, кажется, о первой мировой войне. Поговаривали, что она кололась. Амир Саргиджан был женат многократно. Однажды он женился на официантке из дома творчества в Малеевке, на доброй женщине по прозвищу «Колхозная Венера». Официантка, известное дело, профессия прибыльная, Саргиджан поселился в ее деревенском доме, и соседи-колхозники чисто по-лесковски называли его Содержаном. Когда русский народ был объявлен первым среди равных, оказалось, что татароликий Саргиджан — в действительности русский, фамилия его Бородин. Впоследствии он получил сталинскую премию за роман «Дмитрий Донской». Но в ту пору он был безвестным литератором. Я не исключаю того, что всю эту свару он затеял с насмешливого одобрения компетентных органов.

Подавляющее большинство присутствующих на товарищеском суде явно было на стороне Саргиджана. Я с облегчением вздохнул, когда председательское место занял А. Н. Толстой. Специально для этого из Ленинграда приехал, что ли? Ну, думаю, он-то, талантливый, образованный, да еще и граф, петербуржец, знает цену Мандельштаму, защитит его. Но не тут-то было. А. Н. Толстой обращался с Мандельштамом, когда задавал ему вопросы и выслушивал его, с презрительностью обрюзгшей, брезгливой купчихи. Мандельштам вел себя бессмысленно. Вместо того, чтобы разумно объяснить, как обстояло дело в действительности, он, нервно и звонко, почти певуче вскрикивая, напирал на то, что Саргиджан и его жена — ничтожные, дурные люди и плохие писатели, вовсе не писатели. Присутствующие, будучи литераторами того же типа, что и Саргиджан, симпатизировали Саргиджану. Унижая его, Мандельштам задевал и их. Не помню формулировку решения суда, но хорошо помню, что решение было не в пользу Мандельштама. Опять Мандельштам показал, что плохо разбирается в людях, не видит себя среди них. Он еще долго и красноречиво бушевал у себя в полутемной комнате, куда мы, два или три человека, зашли после суда, Надежда Яковлевна держала себя лучше, спокойней.

Я часто вспоминал этот грязный суд, когда Мандельштама арестовали. Я представлял себе, как его мучают во время допросов, и как он, умный, порой гениальный, бессилен в лапах следователя. Там, уже тогда я угадывал, надо быть волком среди волков, а ведь Мандельштам не был волком по крови своей, он — высокое пламя, но хрупок, слаб пламенник...

В редакцию «Московского комсомольца» к Мандельштаму приходили молодые пишущие, он читал их рукописи добросовестно, разбирал при них каждую строчку, ум его при этом был щедр и снисходителен, но я, свидетель тех бесед, видел, что начинающие не знают его как поэта, знают Уткина, Жарова, Безыменского, Светлова, и, конечно, Есенина, в те годы еще не отмеченного печатью классика, а более понаторевшие увлекались Багрицким, Сельвинским, Луговским. Исключением был Ваня Пулькин (он погиб на фронте), он хорошо знал русскую поэзию, учился у Оболдуева, любил Мандельштама, и Мандельштам к нему благоволил. В своих суждениях Мандельштам был резок, но никогда — никогда! — эти суждения не диктовались личными отношениями. Я к этому еще вернусь...

А пока вернемся в дом в Старосадском. Вот Мандельштам читает мне стихи об Армении, читает высоко, с беспомощным чванством задрал голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешал ему, или ему казалось, что не мешал, и мне не мешал, я жадно ловил то, что, как потом я от него услышал, он рассматривал как второстепенное, — смысл, глубокий, опьяняющий смелой новизной, как горной крутизной, смысл этих огромных стихов. Но нет, он притворялся, смысл для него не был делом второстепенным. Стихи то потрясали необыкновенной наблюдательностью, сказочным блеском подробностей, например, замечанием, что жены здесь «как детский рисунок просты», или про армянский алфавит, «где буквы кузнечные клещи, а каждое слово — скоба», то заставляли по-новому и напряженно думать о народе, чьи «церковки басенного христианства» граничили с миром мусульманским: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил». И какое сверхпонимание географической, исторической сути Армении: «Орущих камней государство».

Мне встречались и встречаются любители поэзии, которые, отдавая должное Мандельштаму, не удерживаются от упреков в литературности, будто бы ему присущей. Теперь, после сорока шести лет, прошедших с того незабываемого дня, когда Мандельштам читал мне стихи об Армении, стихи, которые не всегда можно отчетливо понять, не зная истории Армении и сопредельных с нею стран, истории ее христианства, ее «казнелюбивых владык», ее связей с Византией, с Персией, с античной философией, — теперь я хочу поразмыслить вместе с читателем о том, что же такое пресловутая литературность в стихах.

Литературны, в дурном смысле этого слова, всегда литературны стихи подражателей, даже если авторы дремуче невежественны, даже если их произведения изобилуют новейшими бытовыми частностями, приметами дня, наполнены сельской или городской утварью, укреплены частотом собственных добродетелей, орошены слезами любовных неудач (и удач). Какая странность — и в то же время закономерность: даже у тех подражателей, которые мало читали, даже у тех, которым образцы мало знакомы, — словосочетания почти всегда — бледные копии дав-

но написанных и переписанных. Но литературности нет у Пушкина, ни тогда, когда у него плещут волны Флегетона; ни тогда, когда он переиначивает стихи греков, римлян, французов и даже своих скромных русских современников. Каким литературным с виду может показаться Пастернак, когда он в одной строке соединяет название философского труда древнего грека со стихами мало известного английского драматурга, да еще в пушкинском переложении, но разве литературна эта строка: «На пире Платона во время чумы»? Разве не полна она жгучей человеческой боли?

Когда поэзия рождена жизнью (иначе она не поэзия), то и литература, слившаяся в нашем сознании с жизнью, растущая вместе с жизнью, тоже становится, соединенная с пережитым, одним из источников поэзии. Манделштам и в молодости, и в более поздние годы любил и умел твердо, неожиданными штрихами, очерчивать литературное произведение, вошедшее в наш жизненный обиход. Он прочел, кажется, в Армении, «Шахнаме» Фирдоуси во французском переводе — прозаическом — Жюль Моля, и проникновенно заметил, что характеры героев поэмы меняются по произволу автора, — проникновенно, потому что гениально догадался, что Фирдоуси считал так: нет людей хороших и дурных, пока чтешь светлого Ормузда, — ты хорош, начинаешь служить дьяволу Ахриману, — становишься плохим. «У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда», — советовал Манделштам читателям, и дальнейшие строки этого раннего стихотворения вовсе не пересказывают какой-то определенный роман Диккенса, мы не припоминаем именно те страницы, где веселых клерков каламбуры не понимает Домби-сын, или где клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь, но все стихотворение в целом рисует скорее наше восприятие диккенсовской Англии, нежели саму диккенсовскую Англию, и перед каждым встают картины того детства, которое для многих немисливо без прочитанных в ту пору книг. Я хотел бы к этому добавить, что и Диккенс воспринят Манделштамом через Россию, через Достоевского, что лондонский Сити — это и Петербург Достоевского.

Некоторые замечательные и значительные стихотворения Манделштама, навеянные памятниками литературы, не излагают содержания этих памятников, а выражают как бы наше (сначала, разумеется, его) к ним отношение, нашу с ними совместную жизнь на протяжении годов, наше понимание характеров их героев, предметов, в них описанных («Я список кораблей прочел до середины»), нам слышится русский отзвук тех чужеземных арф.

Нет ли, однако, в этом пристрастии к литературным первоисточникам нарочитой отстраненности от злобы дня? Любой ответ на этот вопрос прозвучит упрощенно, все решает, в конечном счете, талант художника. Шестьдесят лет существует советская поэзия, — и что же в итоге? Дыхание эпохи мы слышим не в сочинениях государственных стихотворцев, они бездыханны со дня рождения, а в стихах «далеких от жиз-

ни» Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Цветаевой, Хлебникова. Когда говорят о гражданственности поэзии, редко кто обходится без крылатого пушкинского призыва — глаголом жечь сердца людей. Не все помнят, что в основе «Пророка» лежит литературный текст — мотивы VI главы книги пророка Исайи. Пушкин довольно далеко отошел от библейского сюжета, но шел-то он от него. В примечаниях к академическому изданию сочинений Пушкина (1956 г.), относящихся к «Подражанию Корану», указывается: «Тема первого подражания позднее развита в «Пророке». Чтобы убедиться в этом, я перечитал два перевода Корана, понял, что действительно некоторые библейские мотивы в «Пророке» Пушкин воспринял через их кораническое истолкование (он, видимо, читал Коран в русском переводе М. Веревкина, изданного в 1790 году), но прямых соответствий я не нашел, кроме одного. В суре 94 Аллах говорит своему посланнику: «Разве мы не раскрыли тебе грудь?» (Коран, перевод М. Ю. Крачковского, М., 1963), и, конечно, вспомнилось: «И он мне грудь рассек мечом». И далее:

И сердце трепетное вынул,  
И уголь, пылающий огнем,  
Во грудь отверстую водвинул.

Какое жуткое хирургическое вмешательство! И как мучительно, и поэтому прекрасно призывание поэта. Да, да, только при том непременно (но еще недостаточном) условии, что человек томим духовной жаждой, и в его рассеченной мечом, отверстой груди пылает уголь, можно стать поэтом, не празднословным и лукавым, а, обходя моря и земли, глаголом жечь сердца людей. Именно эта пророческая, учительская сущность сделала русскую поэзию величайшим проявлением человеческого, а, значит, и Божественного гения новых веков. Чиновник синода или сиендриона — не учитель, не пророк. Становясь чиновничьим писанием, стихотворная литература перестает быть писанием пророческим. И согласимся с другой бесспорной истиной: чтобы глаголом жечь сердца людей, надо этот глагол знать. Хорошо знать. Проникнуть в его строение, как физики проникали и продолжают проникать в строение атома. Глагол, слово порождается не только тем, что пережито, но и тем, что узнано, прочитано, услышано. Не будь бессмертных литературных образцов, не было бы. может быть, и этого пушкинского стихотворения. Конечно, книгами не ограничишься, хорошо бы еще с детских лет иметь свою Арину Родионовну — няню, мать или «московскую просвирню» — в широком, современном смысле этого понятия, но я не принимаю тех стихотворцев, которые уныло бахвалются своей кондовостью, «нелитературностью», своим незнанием основ ремесла. Наше дело, как всякое дело, надо уметь делать. Нужна школа, нужны учителя. Обращение «виждь и внемли» содержит в себе, думаю, совет видеть не только картины жизни, но и прежде, до тебя, написанное. чтобы пойти дальше,

слышать не только голоса всего, живущего вокруг, но и голоса прежде сказанные. Интерес к метрическим и изобразительным средствам стиха, знание версификации проявляли, и весьма настойчиво, Сумароков и Ломоносов, Державин, Пушкин и Тютчев, не говоря уже о более близких нам по времени, и это вовсе не исключает приверженность к первенствующему значению содержания, к пророческому началу поэзии. Та кровавая операция, которую проделал с будущим стихотворцем шестикрылый серафим (а сколько еще будет других кровавых операций!) была бы бессмысленной, если бы стихотворец не научился своему делу, не образовал бы свой вкус, не выработал свое представление о прекрасном, ибо глагол лишь тогда будет жечь сердца людей, лишь тогда станет огненным, когда станет прекрасным.

В первый раз я пришел к Мандельштаму восемнадцатилетним, сравнительно начитанным, но, по сути, невежественным. Звание поэта в моем сознании сопрягалось, как у многих пишущих юношей, со славой, с житейским блеском. И вот я увидел несравненного поэта, почти неизвестного широкой публике, бедного, странного, нервного, стряхивающего почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего образовывался как бы серебряный эполет, и я не разочаровался, я понял, что именно таким должен быть художник, что возвышена, завидна, даже великолепна такая тяжкая, нищая судьба моего необыкновенного собеседника.

Я часто начал бывать у Мандельштама, когда он поселился в довольно плохонькой комнате в доме Герцена, в строении бывших конюшен. Это была, кажется, первая за много лет комната, принадлежащая Мандельштамам. Он ко мне относился хорошо, приветливо (старомодно-приветливо обращался к юнцу по имени-отчеству), происходило это, возможно, потому, что я ему не подражал, а это было редкостью среди того крайне небольшого круга стихотворцев, молодых и не очень молодых, с которыми он общался. Одному из таких стихотворцев он в раздражении сказал:

— Разделим землю на две части, в одной половине будете вы, в другой останусь я.

Мои литературные взгляды (в особенности пристрастие к Бунину-поэту) казались ему нелепыми, хотя и простительно-смешными, но иногда они его выводили из себя, он метался по комнате, пустой и полутемной, как келья, и кричал мне: «Народник! Златовратский!»

Стихи мои по-прежнему большей частью ругал, едко и остроумно, но однажды неожиданно, с лестной для меня серьезностью, похвалил стихотворение «Мир», и только поэтому я, сравнительно недавно, опубликовал его в сборнике, вышедшем в калмыцком издательстве. Он выделял — и чудесно читал вслух — строки: «Где шушера теснилась по углам, А краденое прятали по складам». Но если мои стихи нравились ему редко, то он с покровительственным любопытством, порою, смею сказать, с интересом, выслушивал мои комментарии газетных сообщений, всевозможные пылкие соображения, рожденные только что прочи-

танними Шопенгауэром, Шпенглером, Бергсоном. Убедившись в моей прочной любви к нему, он мне позволял, без большой радости, себя критиковать. Как-то я ему сказал, что в прославленном среди его поклонников стихотворении «Золотистого меда струя...» есть неточность: Пенелопа не вышивала, как у него написано, а ткала, именно в этом суть известного эпизода. К ней, в отсутствие Одиссея, приставали женихи, она, чтобы они отвязались, обещала, что выберет одного из них, когда кончит ткать, а сама ночью распутывала пряжу. С вышивкой так не поступишь.

Мандельштам рассердился, губы у него затряслись:

— Он не только глух, он глуп,— крикнул он Надежде Яковлевне.

Я эту историю рассказал через много лет Ахматовой, и она стала на мою сторону: «В ваших словах был резон. Он не хотел исправить из упрямства».

Но так ли это, думаю я теперь? Поэтика Мандельштама зиждилась на тогда мне неизвестных, да и сейчас не всегда мне ясных основаниях. Прежде всего, как и в давнишнем случае с Диккенсом, Мандельштам не излагал эпизод гомеровского эпоса, а свое, которое должноствовало стать нашим, ощущение эпоса, мифа, эллинистической культуры, достигшей Тавриды, дикой и печальной, где всюду «Бахуса службы».

Миф есть поэзия целого. Он отвергает поэзию частных: они ему нужны только как слуги целого. Миф может упомянуть вскользь собак и сторожей, а Мандельштам скажет: «Как будто на свете одни сторожа и собаки». Такая мысль не придет в голову аду. Миф может указать на время года и приложить нежный эпический трафарет к имени героини, а Мандельштам скажет с обдуманым просторечием: «Ничего, голубка Эвридика, что у нас студеная зима». Используя миф, Мандельштам преобразовывал поэзию целого в поэзию частных и поэтому считал себя вправе не только изменять частности, но и выдумывать их. Он писал: «Собирались эллины войною На прелестный остров Саламин». Гомер мог бы назвать прелестной женщину, но никогда — остров.

Для понимания его поэтики важнее этих соображений то, что слово для него было не частью фразы, а частью ритма. О нет, это не было заумью в крученыховском стиле, избави Боже, но теперь я понимаю так. Подобно тому, как истинный живописец требует, чтобы сюжет картины выражался с помощью рисунка и цвета, а не, скажем, с помощью заранее нам известной исторической фабулы, Мандельштам требовал от стихотворного слова, чтобы оно прежде всего было музыкой, чтобы в самом его звучании жил и победоносно раскрывался смысл, чтобы смысл ни в коем случае не предreshал слова. Мандельштам много и часто говорил об этом, и без какой-нибудь утонченности, он расшвыривал метафоры, но был чужд красноречию, здание его фразы строилось причудливо, но основанием всегда было здоровое понятие. Не в коня, как говорится, корм, я не обладал достаточной подготовленностью для того, чтобы со всей полнотой воспользоваться счастьем быть собеседником Мандель-

штама. Я усваивал только мне доступное. Здесь я не могу избежать небольшого отступления.

Мандельштам был на дружеской ноге с поэтом Георгием Шенгели, ныне несправедливо неиздаваемым, полузабытым. Шенгели, немного, кажется, моложе Мандельштама, был человек добрый, яркий, очень образованный, интересовался не только гуманитарными науками, но и точными, владел главными европейскими языками, опубликовал труды по стиховедению. Мария Петровых, Тарковский, Штейнберг и я многим ему обязаны. Его стихи мне нравились и теперь нравятся.

Однажды Шенгели пригласил меня в гости. Он жил в одном из арбатских переулков, занимал с женой странную комнату, большую, но в квартире, где размещался детский сад, нужно было пройти к нему по ломаной линии коридора, на стенах которого низко начинались вешалки, и над каждой, чтобы еще не умевшие грамоте дети различали свое место, пестрело изображение зверька или цветка. Из этого пестрого эдема вы попадали в комнату, разделенную на две или три части книжными шкапами. Книг было много, все ценные. Оказалось, что в гостях у Шенгели был Мандельштам. Хозяева хорошо нас накормили (Мандельштам любил званые обеды, не очень часто его на обеды приглашали), потом Шенгели читал нам стихи, удивительно искусно написанные, а в некоторых мне слышалась поэзия. Мы вышли вместе с Мандельштамом, и он, прощаясь со мною, заметил:

— Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм.

Я ошешил. Известный поэт, автор, к тому же, трудов по стиховедению (о них и сейчас отзываются с уважением специалисты) не умеет слушать ритм! Что Мандельштам, легко удалявшийся от меня по Собачьей площадке, хотел этим сказать?

После многих бесед с Мандельштамом о ритме, после многих лет работы я попытаюсь ответить. Мы, стихотворцы, часто действуем, заколдованные ритмами данной литературной эпохи, даже данного десятилетия. Есть не только словоблоки, есть и метроблоки. Картина общеизвестная. Как вырваться из этого колдовского плена? Никакие советы не помогут, кроме разве плодотворного разъяснения, что дело обстоит именно так. Уметь слушать ритм есть умение врожденное, от Бога данное. Суть в том, чтобы мысль, слово и ритм возникли одновременно. Необязательно, чтобы мысль была сногшибательно новая. «Бывал я рад словам неизреченным», — сказал Рудаки одиннадцать веков назад на языке фарси, сказал с помощью размера, основанного на чередовании долгих и кратких слогов. «Мысль изреченная есть ложь», — сказал в прошлом веке Тютчев с помощью русского четырехстопного ямба, совершенно не похожего на такой же ямб Пушкина: другой ритм.

Мандельштам открыл для себя, что слово не живет в стихе отдельной жизнью, что оно связано семейными, родственными, дружескими, историческими, общественными узами с другими словами, эти узы, су-

щества, нередко сокрыты от читателей, и поэт обязан их раскрыть и даже пойти на тот риск, что слово будет связано со словом не прямой связью, а с помощью не прямых, не сразу замечаемых, но, бесспорно, физически существующих связей, порой более сильных, чем наглядные прямые. Вот они-то и рождают ритм, сами обаянные своим появлением ритму. Манделштам обычно подчеркнuto уважительно говорил о Хлебникове. В ответ на мое замечание, что в Хлебникове изумительно дерзкое соединение культур высокой и первобытной, например, в «Шамане и Венере», он сказал:

— Айхенвальдовщина какая-то. (Т. е. мои слова айхенвальдовщина.) Дело не в этом. Хлебников расщепил слово, как зерно, на дольки. Он слушал ритм, как слушаю рост зерна. Он и сам был деревом, по его жилам бежал древесный сок.

Позднее в дневнике Гонкуров я прочел мысль Флобера о Гюго, почти совпадающую с выражением Манделштама, но уверен, что о древесном соке в жилах поэта Манделштам говорил без подсказки Флобера, он был слишком богат для того, чтобы снизойти к заимствованию мысли. Он говорил: «Размеры ничьи, размеры Божьи, принадлежат всем, а ритм есть только у поэта, принадлежит ему одному», и подкреплял это положение примерами: четырехстопный ямб «Евгения Онегина» совершенно не похож на четырехстопный ямб тютчевский или некрасовский, и совсем уже иной, послефюфановский четырехстопный ямб Блока: «Вновь оснеженные колонны...» и, того-этого, «Возмездия» у Блока не получилось, потому что ритм рабски заимствован у Пушкина: «Больной и хилый Достоевский Туда ходил на склоне лет». Гимназический ямб! (Впоследствии я услышал отрицательное мнение о «Возмездии» от Анны Ахматовой, но соображения были иные.)

В те годы нас, пишущих юношей, обвораживал метр поэмы Пастернака «1905 год», журналы были наполнены стихами, написанными этим метром на всевозможные темы. Я заметил, что, если перевернуть строки стихотворения «Золотистого меда струя...» так, чтобы оно начиналось строкой с женским окончанием, то получился бы этот метр, и не взял ли его невольно Пастернак у Манделштама. В самом деле, сравним: «Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела» и «Это было при нас, это с нами вошло в поговорку».

— Вздор, — отрезал Манделштам. — У Пастернака другой ритм. Это ритм событий тех лет. Не путайте ритм с размером.

Между тем он был не всегда последователен. Когда он мне прочел: «За гремучую доблесть грядущих веков», — я, потрясенный, воскликнул: «Это лучшее стихотворение двадцатого века!», но Манделштам, указав на жену, которая обычно сидела в дальнем углу, небрежно произнес:

— А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном».

Почему Надсон? При чем тут Надсон? Только потом, на улице, я понял, что имел в виду Манделштам: размер стихотворения напоминал надсоновское «Верь, настанет пора и погибнет Ваал». Неужели такое по-



верхностное, лишенное внутренней связи сходство тревожило Мандельштама? Значит, он придавал значение не только ритму, но и его частному, случайному виду — размеру? Или он хотел, с педагогической целью, обратить мое внимание на то, что другие его стихи не хуже, что дело не только в содержании, которое поразило меня своим пророческим духом? Не думаю. А, может быть, хорошо понимая мощь этого стихотворения, он просто позволил себе покетничать? Последнее я не исключаю. В нем было много детского. И не только потому, что он, как ребенок, любил сладости (я впервые видел взрослого мужчину-сладкожежку). Он, разгораясь, бывал баснословно умен, хотя, повторяю, я не мог тогда насладиться умом его бесед, и в то же время, снова повторяю, он плохо разбирался в людях, не видел себя со стороны (а видеть себя со стороны есть, по-моему, признак умного человека), видел себя одним из крупнейших (не крупнейшим ли?) поэтов современности и не видел, что далеко, далеко не все смотрят на него точно так же, отсюда — его бытовые ошибки, нередко очень тяжелые, отсюда — несуразности в поведении. Он рассказал мне такой случай. Испытывая какие-то затруднения (сейчас не помню, какие именно, но легко могу себе их представить), он, по совету знакомых, позвонил Енукидзе, тогдашнему секретарю ВЦИКа. Узнав от секретарши, что звонит Мандельштам, Енукидзе весело сказал в трубку:

- Это ты, Одиссей? Куда ты запропастился?
- Одиссей? Какой Одиссей?
- Кто со мной говорит?
- Поэт Осип Мандельштам.

Не помню, что произошло дальше, но помню, что Мандельштам долго негодовал на то, что его спутали с каким-то однофамильцем, а то был почтенный старый большевик, чья партийная кличка была «Одиссей», в Москве, в районе Усачевки, мне помнится, был сад имени Мандельштама. А Осип Мандельштам во время этого краткого разговора обиделся, подумал, что по телефону смеются над его стихотворениями в антологическом роде, не понимая, что они известны только узкому кругу читателей, во всяком случае, не таким, как Абель Енукидзе. Мандельштам (не на словах, конечно) то преувеличивал свою известность, то видел себя окончательно затерянным в толпе. Вот мы гуляем по Тверскому бульвару вдоль его дома, из которого мы вышли вместе с его отцом, ровесником которого казался Мандельштам. Отец сидит во дворе на скамеечке, а его преждевременно состарившийся сын читает мне стихи о немецкой речи, спрашивает, нравится ли, и, получив утвердительный ответ, гордо заявляет: «Мое», как будто я мог в этом усомниться, как будто мне могла прийти мысль, что он мне читает не свои стихи, как будто, наконец, можно было допустить, что в России есть другой поэт, который мог бы написать так, как написал он. К замечаниям тоже относился по-детски, терпел их с трудом. Когда я ему сказал, что вряд ли кони гарцуют (так у него), гарцуют всадники, он осыпал меня не-

естественной для него, неумелой бранью. Кажется, в тот же день (я не уверен в своей хронологической памяти) он прочел мне известные ныне строки:

Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,  
Я нынче славным бесом обуян,  
Как будто в корень голову шампунем  
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Я пошел в наступление:

— Осип Эмильевич, почему такая странная, нищая рифма: «Обуян-Франсуа»? Почему не сделать «Антуан», и все будет в порядке, и ничего не меняется.

— Меняется! Меняется! Боже,— нарочито по-актерски, обращаясь в бульварное пространство, закричал, чуть ли не завопил Мандельштам, — у него не только нет разума, у него нет и слуха! «Антуан-обуян!» Чушь! Осел на ухо наступил!

В самом деле, думаю я теперь, может быть, он слышал так, как не слышим мы, смертные, ему в данном случае важна была не школьная точность рифмы, а открытый, ничем не замкнутый звук в конце строфы — Франсуа.

Я уже писал о том, что он был одинок, но я не сразу понял, что он не выносил одиночества, радовался, когда к нему приходили. Считается, что он мало (редко?) работал, но я с этим не согласен, он работал всегда, в особенности во время чтения, мысль его страдала бессонницей, плодотворной бессонницей, тому доказательство, например, «Разговор о Данте». Когда он чем-нибудь из прочитанного увлекался, он только и говорил о предмете увлечения. Помню месяцы его увлечения Батюшковым, он написал о нем упоительное стихотворение, героем которого, как это часто бывает с истинными поэтами, стал он сам. Он рассказывал о Батюшкове с горячностью первооткрывателя (он никогда не говорил о литературе банально), не соглашался с некоторыми критическими замечками Пушкина на полях батюшковских стихов, искал, находил линию Батюшкова в дальнейшем движении русской поэзии, называл при этом Языкова и Веневитинова. Запомнилась (неточно) фраза: «Прекрасно обливаться слезами над вымыслом, а Батюшков и слезы превращал в вымысел».

Надежда Яковлевна никогда не принимала участия в наших беседах, сидела над книгой в углу, изредка вскидывая на нас свои ярко-синие, печально-насмешливые глаза. Я, каюсь, в ней тогда не видел личности, она казалась мне просто женой поэта, притом женой некрасивой. Хороши были только ее густые, рыжеватые волосы. И цвет лица у нее всегда был молодой, свежее-матовый. Как-то Осип Эмильевич, говоря о чем-то возвышенном, вдруг тонко закричал:

— Надюша, Надюша, клоп!

Он засучил над локтем рукава пиджака и рубашки. Надежда Яковлевна молча приблизилась к нему на своих кривоватых ногах, уверенным щелчком смахнула клопа с руки мужа и так же молча уселась в своем углу. А ведь если бы я был понаблюдательней, то мог бы понять, что Надежда Яковлевна была человеком незаурядным, — хотя бы потому, что Мандельштам, прочтя свои стихи, часто ссылался на мнение о них Надежды Яковлевны, хотя бы потому, что эта чета была неразлучной, по всем делам всегда отправлялись вместе, а дела большей частью были какие? Перехватить денег в долг, редко с отдачей, и это дало повод не всегда доброму, но всегда остроумному Валентину Катаеву, иногда кормившему поэта и его подругу в ресторане, выразиться так:

С своей волчицею голодной  
Выходит на добычу волк.

Только в конце сороковых, снова, через много лет,—и каких лет! — встретившись с Надеждой Яковлевной у Ахматовой на Ордынке, я мог оценить блестящий, едкий ум Надежды Яковлевны, превосходное ее понимание государственной машины, не столь часто наблюдаемое даже у людей неглупых. А когда, позднее, я прочел ее книги (вторая, на мой взгляд, сильно уступает первой), то, к своему изумлению, открыл оригинального, страстного (и, увы) пристрастного писателя. Она совершила подвиг, сохранив в памяти все неопубликованные стихи Мандельштама и заслужив вечную благодарность русских читателей. Я до сих пор храню подаренное ею машинописное собрание стихотворений Мандельштама, не вошедших в его прежние книги.

Вместе с И. Л. Лиснянской и молодым поэтом П. Нерлером, деятельно занимающимся изданием мандельштамовской прозы, я посетил Надежду Яковлевну незадолго до ее смерти. Вид ее меня не порадовал. В том, как она говорила, не было знакомой мне злости, была какая-то примиренность, поругивала, правда, одну нашу общую знакомую, уехавшую из Союза, ей, как мне казалось, преданную, но поругивала вяло, без присущей ей страсти. Она сказала о себе: «Восемьдесят лет стукнуло девочке». Стали вспоминать прошлое — и давнее, и более близкое. Она напомнила мне, что Анна Андреевна называла меня своим великим визирем: я занимался некоторыми ее переводческими делами. Такой элегический ход разговора позволил мне сказать Надежде Яковлевне, что во второй ее книге много несправедливого (я выразился мягче), и это соседствует с прекрасными мыслями, наблюдениями, что особенно мне неприятен в книге портрет М. С. Петровых, благородной женщины, истинной христианки, замечательного поэта, чей облик автором искажен, а я дружил с ней с юношеских лет и знаю, что она виновна только в том, что Мандельштам — дело прошлое — был в нее влюблен, а она ему не отвечала взаимностью. Надежда Яковлевна встретила мои слова

неожиданно спокойно, спросила задумчиво: «Вы так думаете?» Странный вопрос...

Потом опять пошли воспоминания. Я сказал:

— Надежда Яковлевна, мерещится мне или в самом деле в «Александре Герцовиче» была одна строфа, позднее не вошедшая в окончательный вариант? Я даже слышу голос Осипа Эмильевича, читающего мне приблизительно так:

Он музыку приперчивал,  
Как жаркое харчо.  
Ах, Александр Герцович,  
Чего же вам еще.

Надежда Яковлевна оживилась:

— Да, да. Ося эту строфу выбросил. Вам жаль? А я считаю, что так надо было сделать.

Между тем строфа говорит о характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому Газетному переулку до Тверской, в ресторан «Арагви», помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания, брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое, острое харчо им наливали щедро, полную тарелку...

Не всегда те, чье общество было интересно Мандельштаму, общались с ним. Не могу поклясться, охотно допускаю, что ошибаюсь, но у меня тогда возникло впечатление, что к нему был холоден Пастернак, они, по-моему, редко встречались, хотя одно время были соседями по дому Герцена. Однажды я застал Мандельштамов в дурном настроении. Постепенно выяснилось, что то был день рождения Пастернака, но Мандельштамы не были приглашены. А поэзию Пастернака Мандельштам ставил чрезвычайно высоко.

Вот кого из современников он при мне хвалил всегда: Ахматову, Пастернака, Хлебникова, Маяковского. Иногда: Андрея Белого, Клюева. Ему нравились ранние стихи Есенина («Хотя Кольцову больше доверяешь»), нравились «Пугачев» и «Черный человек», отрицательно отзывался о «Персидских мотивах»: «Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как всюду в Европе. А если и есть, то почему перс дает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот».

Что-то привлекательное слышалось ему в некоторых строчках Асева, позднее — Павла Васильева. По-корнелевски высокогласно, чуть ли не как сам Тальма, произносил «Николай Степаных», но я полагаю, что в Гумилеве он видел прежде всего друга, авторитетного, умного вожака бывлой литературной группы и, конечно, жертву разбойного деспотизма. Расстрел Гумилева потряс его навсегда. Не помню, чтобы Мандельштам вслух читал его стихи.

Чудесной чертой Манделъштама, ныне не очень часто встречающейся, была его литературная объективность. Не то, что суд его был всегда правым, но свои оценки писателей он не связывал с отношением этих писателей к себе. Он восторгался Хлебниковым, который его мало ценил, называл, кажется, «мраморной мухой», восторгался Маяковским, между тем и Маяковский, и круг Маяковского его не очень жаловали, и Манделъштам знал это. И другая чудесная черта: он никогда не злился на знаменитых, не завидовал им, взирал на них спокойно, издали, даже, по-моему, с некоторым добродушием. Цену себе знал.

Приведу пример его независимой объективности. Я рассказал ему, как его любит Багрицкий, можно сказать, боготворит его, а Багрицкий был тогда гораздо популярнее Манделъштама и среди читателей, и в литературных кругах. Но Манделъштам мое сообщение не тронуло. «У него в мозгу фотографический аппарат,— сказал он.— Выйдет на Можайское шоссе, так непременно увидит Наполеона. Лучшее у него от Нарбута».

Году в 1933-м был устроен в Политехническом вечер Манделъштама. Я получил билет. В тот день, проводя студенческую практику на Дербеневском химическом заводе, я задержался в связи с оформлением цеховой стенгазеты, немного опоздал. Вступительное слово произносил Борис Эйхенбаум. Публики было довольно много, больше, чем я ожидал, но кое-где зияли пустые скамейки. А публика была особенная, не та, которая толпилась на взрыхленной строительством метрополитена Москве, на узких мостках вдоль Охотного ряда, деловая, целеустремленная, аскетически одетая,— то пришли на вечер поэта люди, обычно на московских улицах незамечаемые, иные у них были лица и даже одежда, пусть бедная, была по-иному бедная. Увидел я и десятка полтора моих сверстников, запомнился один красноармеец. Признаюсь со стыдом, я плохо слушал маститого докладчика, думал о слушателях, об этом вечере, устроенном внезапно, как вдруг откуда-то сбоку выбежал на подмостки Манделъштам, худой, невысокий (на самом деле он был хорошего среднего роста, но на подмостках показался невысоким), крикнул в зал: «Маяковский — точильный камень русской поэзии!» — и нервно, неровно побежал вспять, за кулисы. Потом выяснилось, что ему показалось, будто Эйхенбаум недостаточно почтительно отозвался о Маяковском (этого не было, Манделъштам ослышался). Не все в зале поняли, что на подмостки выбежал герой вечера. А вечер прошел превосходно, слушали так, как следовало слушать Манделъштама, даже горсточка случайных неопитов была вовлечена во всеобщее волнение, к тому же, к большой радости давних поклонников, Манделъштам читал много новых стихов, еще не опубликованных.

Мне казалось странным, что Манделъштам, так восхищаясь далеким ему Маяковским, довольно небрежно, порой неприязненно отзывался о поэтах, которые, как я тогда думал, должны были ему быть ближе, чем Маяковский. Он не любил символистов, ругал Бальмонта и Брюсо-

ва, поругивал Вячеслава Иванова, делал исключение, не говоря уже о Блоке, для Сологуба и Андрея Белого, с которыми с удовольствием встречался. Вышла в свет «Форель разбивает лед» Кузмина, я и мои друзья были очарованы этой книгой, несмотря на то неприятное, что в ней было и что Блок деликатно назвал «варварством». Мандельштам разругал «Форель»:

— Это ядовитый плод болезненно цветущего ствола. Стилизация — не дело поэта.

— Но вы же сами советовали мне следовать за Тыняновым, учиться у него воспроизводить речевой стиль эпохи.

— Тынянов возродил живые голоса времени, а Кузмин в «Форели» обезьянничает.

Я не согласился, прочел:

Кони бьются, храпят в испуге,  
Синей лентой обвиты дуги...

Или это:

То Томас Манн, то Генрих Манн,  
А сам рукой тебе в карман.

— Да, хорошо. Но Кузмину лучше удаются свободные метры. Птица певчая:

Золотое, ровное шитье — вспомнить твои волосы,  
Бег облаков в марте — вспомнить твою походку...

Я любил, знал почти всю книгу наизусть «Версты» Цветаевой. Стихов ее, написанных в эмиграции, я в те годы не знал. И вот попалась мне «Царь-девица». Вещь мне не понравилась. Мандельштам со мной согласился. «Я антицветаевец», — сказал он, озорничая, улыбаясь, и стал резко критиковать подругу своей юности. Из потока слов я запомнил фразу: «Ее переносы утомительны. Они выходят не в прозу, — признак высокой поэзии, — а в стилизацию. Она слышит ритм, но лишь слуховым аппаратом, ухом, а этого мало».

Опять ритм! И возникает в памяти замечание Мандельштама о Петрарке:

— Его сонеты скучно переводят пятистопным ямбом или театральным александрийцем, и незаконная страсть монаха превращается в переводах в адвокатскую напыщенность. Послушайте его почти уличную итальянскую речь.

Он прочел несколько сонетов Петрарки в подлиннике, один или два наизусть, другие — глядя в книгу, прочел так, как обычно читал собственные стихи. То было почти пение.

— Мне кажется,— сказал я, имея в виду размер,— что русской кальки не получится.

— И пусть не получается! Вообще стихи переводить не надо. В переводе можно читать только прозу, стихи следует читать только в подлиннике. Напрасно вы начинаете заниматься переводами, потом пожалеете.

Он был неправ. Я не пожалел и не жалею. Конечно, и дрянь прихотилось перекладывать на язык родных осин, но переводя классику, я узнал Восток — мусульманский, индуистский, буддийский, его древнюю поэзию, его еще более древний эпос. Для Мандельштама переводы были сущей пыткой (из его переводов мне по-настоящему нравится только тот сонет Петрарки, где шепот клятв каленых), Ахматова, переводя, испытывала удовлетворение крайне редко, а Пастернак и Заболоцкий переводили с увлечением.

Не столь пристрастный, какой оказалась Надежда Яковлевна, Мандельштам довольно часто и горячо менял свои суждения. Отрицая значительного поэта (например, Заболоцкого или Вагинова), он вдруг, ни с того, ни с сего, начинал хвалить заурядного стихотворца, да еще, на мой взгляд, ему чуждого. Так мне запомнились неожиданные для меня похвалы Кирсанову.

Поучая меня, принаравливаясь к моему молодому советскому невежеству, Мандельштам вел со мною разговоры не только о различных особенностях литературного ремесла. Разговаривали мы и на более важные темы, например, о христианстве и иудаизме. В отличие от Пастернака Мандельштам духовно ощущал свое еврейство (в молодости он крестился, но то был акт чисто внешний — ради возможности поступить в университет он принял лютеранство. Надежда Яковлевна родилась в крещеной семье, но религиозные чувства пришли к ней очень поздно). Я опрометчиво понадеялся на свою память и ничего не записывал. Память в то время у меня была хорошая, но я чувствую, что даже те фразы, которые я запомнил, я воспроизвожу, обедняя их.

Интересовали Мандельштама и политические вопросы, и немудрено: политика властно и жестоко входила в повседневный быт советских людей. У Мандельштама не было того обстоятельного, поразительного ясного политического мышления, которое впоследствии восхищало меня в Ахматовой, зато некоторые его прозрения были гениальны. Запомнилось:

— Этот Гитлер, которого немцы на днях избрали рейхсканцлером, будет продолжателем дела наших вождей. Он пошел от них, он станет ими.

В последний раз я видел Мандельштама, посетив его вместе с Г. А. Шенгели. Он жил, после воронежской ссылки, полулегально. Квартира была хорошая, в писательской надстройке в Нащекинском переулке (теперь улица Фурманова). Мандельштам читал нам чудные воронежские стихи, и мне вспомнилось, как я с тем же Шенгели, за несколько лет до

этого, пришел к Мандельштаму в комнату в доме Герцена, и Мандельштам прочел нам стихотворение об осетинском горце, предварительно потребовав поклясться, что никому о стихотворении не скажем. Я понял, что он и боится, и не может не прочесть эти строки. Откуда, однако, он уже в те годы знал об осетинском происхождении Сталина? Шенгели побледнел, сказал:

— Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...

Во время допроса Мандельштам составил список лиц (он теперь известен, хотя и неточно), которым он читал это стихотворение. Моя фамилия в списке не указана. Забыл или пожалел? Но почему же он не пожалел М. С. Петровых, которая была ему ближе, чем я?

В лагере он сошел с ума. Его убили. Теперь о нем пишут статьи, он знаменит, как никогда при жизни. Ахматова еще в начале пятидесятых предсказывала его славу. Даже у нас издали в «Библиотеке поэта» укороченный томик его стихов с оскорбительным предисловием. Мне рассказывали, что секретарь калмыцкого обкома партии, храбрый солдат, генерал-лейтенант в отставке, вряд ли прочитавший за всю свою жизнь более двух-трех книг, самолично распределял присланные в республику экземпляры книги Мандельштама среди партийной элиты: все-таки ценность! Как всегда, Поэт оказался сильнее Государства. Уголь, пылающий огнем, не гаснет.

1977—1981



## ВЕЧЕР ШЕНГЕЛИ

Почти сто лет назад, в 1888 году, Чехов писал Григоровичу: «Из поэтов начинает выделяться Фофанов. Он действительно талантлив, остальные же как художники ничего не стоят. Прозаики еще туда-сюда, поэты же совсем швах. Народ необразованный, без знаний, без мировоззрения. Прасол Кольцов, не умевший писать грамотно, был гораздо цельнее, умнее и образованней всех современных молодых поэтов, вместе взятых».

Был ли прав Чехов? Время, о котором идет речь, действительно принято считать периодом упадка русской поэзии, хотя зажигал свои «Вечерние огни» великий Фет, развивалось дерзкое, оригинальное творчество Случевского, завораживал юного Бунина кумир передовой молодежи Надсон, да и Апухтиным и тем же Фофановым нельзя пренебречь, и уже близились годы, когда начинали печататься старшие символисты — Мережковский, Гиппиус, Минский, предтечи Блока. И все ли тогдашние молодые — и достаточно известные — поэты составляли «народ необразованный, без знаний, без мировоззрения»?

В России никогда не было непризнанных поэтов — «проклятых», как во Франции. Все всегда на своих местах стояло, в худшем случае — на свои места рано или поздно становилось. И беда не в том, что, как писал Чехов, сейчас поэты «совсем швах». Беда наша в том, что этот «народ необразованный, без знаний, без мировоззрения» находится у литературной власти, разрешает (или не разрешает) публикации, определяет тиражи, премии, квартиры, льготы, привилегии, ласки, поощрения и при этом не знает (вернее, не хочет знать), что он «швах». Он не только по злобе (а она велика), но и искренне, по своему невежеству, считал нашу национальную русскую гордость Иосифа Бродского, уже в юности обещавшего нам огромного, драгоценного поэта, — ерундой, он, этот темный, но имеющий власть стихописущий народец, состоящий из авторов чуть ли не сорока прижизненных книг (у Тютчева — две, у Анненского — одна, если не считать трех трагедий на сюжеты античных мифов, у Ахматовой — шесть), искренно полагал, что никакой цены не имеют стихи Марии Петровых, Александра Кочеткова, Аркадия Штейнберга, Арсения Тарковского, (пустившегося на дебют, имея пятьдесят два года от роду). Обсуждая альманах «Метрополь», все эти сочинители, озлобленные, завистливые и одновременно самодовольные, жадные чиновники, от тайных советников до титулярных, с искренним невежеством издевались над одним из самых значительных поэтов русской современности Юрием Кублановским.

Жертвой тотального и правящего стихописущего рабьего невежества стала и поэзия Георгия Шенгели.

Я часто думаю о его судьбе. Среди неизданных у нас работ Анны

Ахматовой сохранился «План книги». Раздел второй называется «Люди». Перечисляются имена. На четвертом месте — Шенгели.

В 1927 году вышел небольшим тиражом памфлет «Маяковский во весь рост». Мне было шестнадцать лет, когда я в Одессе прочел эту книжицу. Имя ее автора, Шенгели, было мне знакомо, но смутно. Маяковский — единственный в мире крупный писатель, которого я никогда не любил и не люблю, но от памфлета Шенгели повеяло на меня чем-то дурным. Чувствовалась вражда не общественно-литературная, а личная. Плохой признак.

Вначале памфлетист скорее сдержан. Он отдает должное своему герою: «Талантливый в 14-ом году, еще интересный в 16-ом». Беспристрастный исследователь должен был убедительно показать, в чем и как проявился талант Маяковского в указанные годы. Но памфлетист торопится заявить: «В 27-ом уже не подает никаких надежд... и способен лишь реагировать на внешние раздражения вроде выпуска выигрышного займа, эпидемии растрат, моссельпромовских заказов на рекламные тешки».

В чем же причина положительных суждений критики и многочисленных читателей Маяковского? Шенгели находит броскую формулировку. Поэзия Маяковского, по его мнению, — «плод творческого усилия особой социальной прослойки, которую я называю люмпен-мещанством».

Эта мысль выглядела бы, возможно, более убедительной, если бы Шенгели развил ее, если бы на минуту стиховеда в нем сменил философ и социолог. Он пытается это сделать, — с некоторой робостью:

«Люмпен-мещанин создает свою поэзию — поэзию индивидуализма, агрессивности, грубости и при наличии некоторого таланта (значит, талант есть!), при болезненной общественной нервности критической эпохи добивается порой заметного успеха».

Но что это такое — «люмпен-мещанство»? Каковы его роль, его значение в нашем государстве? Здесь Шенгели не хочет додумать, фраза его становится неряшливой.

Шенгели обретает силу, когда исследует особенности мастерства Маяковского. Памфлетист резко и логично отвергает утверждения Маяковского о том, что «старые размеры», «ямбы и хореи» давно «подохли», что современному поэту стыдно, при бешеных ритмах жизни XX века, пользоваться этим стихом, которым пользовались в XVIII веке, когда никаких автомобилей не было!

С уверенностью эрудита Шенгели разбивает тезис Маяковского:

«Четырехстопный ямб, которым написан «Евгений Онегин», может быть построен, оставаясь четырехстопным ямбом и имея только мужские и женские окончания, — более чем тремястами способами в одной строке (грандиозное замечание!). Две строки этого размера, следовательно, могут дать девяносто тысяч комбинаций, а четыре строки — свыше восьми миллиардов комбинаций. Целые же стихотворения, в 16, 20

строк, открывают возможности, выражаемые астрономическими числами. Совершенно ясно, что только микроскопическая доля этих возможностей была осуществлена на практике и, следовательно, каждый поэт в рамках «дохлого» четырехстопного ямба может быть вполне индивидуален, может отыскивать новые системы ритменных звучаний. То же самое можно утверждать касательно всех других «дохлых» размеров».

Шенгели прозорливо прав. Так оно и случилось. В поэзии нет и не может быть так называемого новаторства. Кто талантлив, тот и нов. Версификаторские изобретения, порой изобретательные, не новаторство. А те, кого называли или называют новаторами, живут в литературе могильной жизнью.

В чем же беда памфлета Шенгели? В чудовищной пристрастности. Вот он цитирует известные строки раннего Маяковского:

Время! Хоть ты, хромой богомаз,  
Лик намалюй в мою божницу  
Уродца века.  
Я же одинок как последний глаз  
У идущего к слепым человека.

«Здесь, — чуть ли не издевается Шенгели, — жажда оставить хоть какой-нибудь след в «божнице уродца века». Замечание глухого, не услышавшего гениального трагизма заключительных строк:

Я же одинок как последний глаз  
У идущего к слепым человека.

Не одного Шенгели раздражал свойственный новой литературе язык лабазных зазывал. С негодованием приводит он текст афишки, расклеенной Маяковским в Нью-Йорке:

Состоится вечер  
Владимира Маяковского  
Великого поэта СССР.

Афишка вызывает отвращение. Но почему же Шенгели при этом умилется тому, что Игорь Северянин «честно помещает титул «короля поэтов» на обложках своих книг»? Одна компания. Памфлетист это хорошо понимает: «Самореклама — естественное следствие люмпен-мещанского мироощущения. В ней видят показатель силы, а в действительности она — вывеска глубоко упрятого бессилия».

Шенгели часто остроумен. Вот его замечание о знаменитых строках Маяковского:

Кто там шагает правой?  
Левой, левой, левой...

«Шагают и правой, и левой попеременно; прыгать же на одной ножке по меньшей мере утомительно».

Не забывает Шенгели и о том, какие авторитеты одобряли Маяковского. Он напоминает читателю, что о вышеприведенных строках Блок сказал: «А все-таки хорошо». В чем же сущность того хорошего, которое увидел Блок? Шенгели об этом не говорит, а обязан был бы сказать. Так теряется доверие к автору памфлета.

Когда я в 1929 году приехал в Москву, я почувствовал, что многие стихотворцы относятся к Шенгели презрительно, с негодованием приравнивая его нападки на Маяковского к нападкам Булгарина на Пушкина. Еще живя в Одессе, я спросил о Шенгели у Багрицкого. Мне запомнились два слова. О Шенгели-поэте Багрицкий сказал «позер», о человеке — выразился нецензурно, хотя и беззлобно. Я узнал, что Шенгели несколько послереволюционных лет провел в Одессе, был близок к кружку местных поэтов. В своей (неизданной) пародии на «Василия Шибанова» А. К. Толстого, описывая завсегдаев Дома Герцена («За пушкинской задницей пышно цветет советская литература»), Багрицкий делает такое наблюдение:

Там Уткин не Уткин, а Шелли,  
И корчит поэта Шенгели.

Забегу вперед. Несколько лет назад Валентин Катаев сказал мне о Шенгели: «Мы его недооценивали». Другой видный представитель юго-западной плеяды, Юрий Олеша, дружил с Шенгели, любил его стихи и, когда мы хоронили Георгия Аркадьевича, произнес прекрасную надгробную речь.

Прочтя в Одессе столь неприятный мне памфлет, я решил познакомиться с поэтическим творчеством автора, раздобыл изданную в 1922 году книгу его стихов «Раковина». Меня поразило стихотворение, открывающее сборник. Так как «Раковина» стала библиографической редкостью, да и имя автора редко кто теперь помнит, я приведу это стихотворение полностью. Написано оно в 1919 году:

Ты помнишь день; замерзла ртуть; и солнце  
Едва всплыло в карминном небосклоне,  
Отяжелевшее; и снег звенел;  
И плотный лед растрескался звездами;  
И коршун, упредивши нашу пулю,  
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал  
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул:  
На сизой стали заалела кожа,  
Охваченная ледяным ожогом...  
Не говори о холоде моем.

Вот такой ледяной ожог я почувствовал, читая «Раковину» — лучшую, по-моему, книгу Шенгели. Среди тогдашних горячечных, истеричных вскриков и воплей имажинистов, футуристов да и пролетарских, холод стихов Шенгели нес читателю ~~ш~~ острое дыхание. Поэт безбоязненно обнажал прием:

Я скрипку в прорубь окуну,  
На ледяном ветре заморожу  
И легким пальцем потревожу  
Оледеневшую струну.

Нет, холод этих стихов не показался мне холодом позера, эстета. Он сливался с холодом годов военного коммунизма, с холодом нетопленых, заледеневших квартир, замерзшего вокзала, застывшего в своем мрачном движении индигового моря, бездействующего порта. А словарь Шенгели был, в ножнах старых метров, резким, режущим, как клинок. Шенгели убежден, что поэт должен «мысль рассечь ланцетом».

Да, только в молниевой игре, во вздохах  
Насоса нагнетательного, в звонах  
Дрожащих исступленных рычагов,  
В порхании, свистящем лете поршней,  
Отмеривающих стихи и строфы,  
Ты золото из глубины подымешь  
И вверх его по желобу косо му  
Тяжелой песней устремись.

Тяжелая песня, тяжелая лира... Есть что-то общее, при всей наглядной разнице в объеме дарования, у Шенгели и Ходасевича. «Жив Бог: умен, а не заумен, хожу среди своих стихов», — писал Ходасевич. А примерно в те же годы — Шенгели:

Люблю слова, певучую их плоть:  
Моей душе, неколебимо пленной,  
Их вестниками воли шлет Господь.

Автор предпочитает старые метры, больше всего — пятистопный ямб и александрийский стих, но найдем у него и верлибр, и изысканные размеры. В «Краткой литературной энциклопедии» в качестве редко встречающегося метра приводится строфа из его «Барханов»:

Безводные золотистые пересыпчатые барханы  
Стремятся в полусожженную неизведанную страну,  
Где правят в уединении златолицые богдыханы,  
Вдыхая тяжелодымную златоопийную волну.

В «Раковине» сверкают две жемчужины: «Державин» и «Ермолов». Вот строфы из «Державина»:

Он очень стар. У впалого виска  
Так хладно седина белеет,  
И дряхлая усталая рука  
Пером усталым не владеет.  
Вот и вчера. Сияют ордена,  
Синеют и алеют ленты,  
И в том дворце, где медлила Она,  
Мелькают шумные студенты,  
И юноша, волнуясь и летя,  
Лицом сверкая обезьяньим,  
Державина, беспечно, как дитя,  
Обидел щедрым подаяньем...  
Бессильный бард, вернувшийся домой,  
Забыл об отдыхе, о саде,  
Присел к столу и взял, было, рукой,—  
Но так и не раскрыл тетради.

С таким же острым пониманием человека, с таким же словесным блеском и проникновением в чудо словесности,— например, как чутко воспроизведена обида Державина на то, что юноша его, великого поэта, «обидел щедрым подаяньем», — написан портрет Ермолова.

В эти же годы написаны еще два портрета, «Денис Давыдов» и «Бетховен». Для Шенгели, «поэта большой литературной культуры» (из статьи о нем академика А. И. Белецкого), — искусство, поэзия, люди искусства и поэзии — превыше всего. Художник — «скворещниц вольных граждан». Строка Вячеслава Иванова стала заповедью для Шенгели. Не свойство ли это небольших, но истинных талантов? Не оно ли было присуще и Игорю Северянину — учителю и покровителю юного Шенгели? Стихотворение «Бетховен» связано у меня с таким воспоминанием. Мы, уже подружившиеся, выступали с Шенгели в студенческой аудитории. Почему-то в зале стоял гул, мешавший читать всем выступающим. Когда предоставили слово Шенгели, гул усилился. Может быть, слушателям был известен памфлет «Маяковский во весь рост»? Но Шенгели, сверкая огненными восточными глазами из-за стеклянной прохлады очков, с властной громкостью выкрикнул в зал одно слово: «Бетховен». Зал неожиданно затих. Шенгели прочел — не о себе ли?

Хозяин к ушам прижимает испуганно руки,  
Учтивостью жертвуя, лишь бы не резали звуки,  
Мальчишка от хохота рот до ушей разевает,—  
Бетховен не видит, Бетховен не слышит,— играет!

«Раковину» завершает поэма «Поручик Мертвецов». Моряк с кладбищенской фамилией, которому, по мнению адмирала, «керосину не выдумать», был отчислен с броненосца, переименован из мичманов в поручики и стал служить в адмиралтействе, «попал в сургучную Валгаллу». Однажды ему приснился «подлый сон»:

Сидит он нагишом в степи и видит:  
Вдали идут покойники, в порядке  
И по ранжиру, тоже нагишом;  
И каждый тащит курицу под мышкой,  
Ощипанную, гнусную на вид.  
Подходят чередой к нему, слагают  
У ног его всю эту пададь, тихо,  
Таинственно и ласково шепча:  
«Учителю, учителю...») И в страхе  
Проснулся униженным поручик.  
Курятины с тех пор не ел он вовсе.

Безумный сон сменяется в крымском городке безумной явью революции. Собираются в каменоломнях забродчики, фронтовики, гамзеи в клеенчатых фуражках, в бескозырьках. Стрекочет фальцет пропагандиста. Голод. Дорожает кокаин. «Протоиерей постыдно окарнал волосы седые и рясу снял». С севера текут сермяжные фаланги, и матрос

С двумя серьгами, пьяный и кудрявый,  
Захлебываясь «яблочком»), сияя  
«Авророю» на двухаршинной ленте,  
Уже купал свой пыльный броневик  
В водах Салгира.

Красные отступали. Мертвецов выволок из-под железной крыши «щуплого жиденка» Малкина и повесил его за ноги. Потом повесил за ноги и курицу — «субботний обед» мальчику.

Георгия Шенгели и позднее часто влекло к эпосу, но лучшей его поэмой, на мой взгляд, остался ранний «Поручик Мертвецов». Хотя литераторы (и сам себя Шенгели) причисляли его к неоклассикам, к парнасцам, хотя многие видели и видят в нем эпигона русской поэзии девятнадцатого века, «Поручик Мертвецов» опровергает это мнение. Шенгели далек от классических образцов нашего «золотого века». Ближе он к прозе и стихам Бунина, с их необыкновенной, почти звериной зорко-

стью, с их праздником подробностей. Но Шенгели, в отличие от Бунина, мыслил тривиально. Он стремился к поэзии мысли, но мыслить не умел. Он умел рисовать. Наглядный пример — его убогая по мысли и убедительная по живописи поэма «Ушедшие в камень».

В своих воспоминаниях о Мандельштаме я привел сказанные мне слова Осипа Эмильевича: «Каким прекрасным поэтом был бы Георгий Аркадьевич, если бы он умел слушать ритм». Я думаю, что это не совсем так. Истинному поэту Шенгели мешало стать прекрасным другое. Он был лишен крыльев мысли. Бунин уверенно ходил по земле, но он и летал. Таким разным, как Бунин и Пастернак, «веселый Бог деталей» не был преградой для полета.

Когда мы познакомились и подружились, Шенгели подарил мне свою маленькую книжечку «Еврейские поэмы», изданную в 1920 году мифическим издательством «Аонида», а в действительности — иждивением автора. В книжечке тринадцать стихотворений, все они полны сочувствия к многострадальному народу, все они мастерски написаны, но ни в одном нет оригинальной мысли, и хотя поэт пишет о Иегове, которому «ведомо времен предназначенье», рукой поэта ведет не Бог Книги, а языческий бог деталей, — например, в стихотворении «Пустынник»:

И рыжим золотом под этим бледным небом  
Плывет верблюжья шерсть на согнутых плечах,  
Там, где Фавор прилег окаменелым хлебом.

«Окаменелый хлеб Фавора» — как смело сказано: смело — и побунински сильно. Кстати, Шенгели — единственный из знакомых мне поэтов своего поколения (кроме Катаева, начавшего как поэт), ценивший стихи Бунина. Шенгели мне рассказывал, как в Одессе он пришел к Бунину, и как понравилось Бунину определение, которое Шенгели дал его поэзии: «Средиземноморский лиризм».

Когда я приехал учиться в Москву, оказалось, что мои друзья, молодые поэты Штейнберг, Петровых и Тарковский, видели в Шенгели если не своего наставника, то старшего в их содружестве. Не помню, кто из них привел меня к Шенгели. Он жил в одном из арбатских переулков, Малом Ржевском, в квартире, занимаемой детским садом, — типично московская фантазмагория тех лет, — и только одна комната принадлежала Шенгели и его жене, поэтессе Нине Леонтьевне Манухиной.

Комната, довольно большая, была разделена книжными шкафами на две или три части, одна из которых служила спальней. Книг было много, очень много, на разных языках. На одной из полок виднелась дощечка с выгравированной надписью: «Книг на дом не даю».

Шенгели был красив, не русской, а новороссийской, смуглой красотой. Хорошего роста, темноглазый, артистичный, с оттенком барственности. Он говорил, что в его жилах течет смесь русской, польской, грузинской и еврейской крови. В стихах он пишет: «Пращур мой — Суво-



ров». Не знаю, — троп ли это или же факт биографии? Красива была и Нина Леонтьевна, высокая, тоненькая.

Я прочел юношеские стихи — для этого меня и привели. Стихи понравились, я был признан своим.

Постепенно я кое-что узнал о Шенгели — от него самого и от наших общих друзей. В юности он сблизился с Игорем Северянином, писал «под него», как и многие тогдашние молодые стихотворцы (например, Юрий Олеша), выступал вместе с ним в различных городах, «легко на эстрады взлетал». Ранние книги Шенгели носят типично эгофутуристические названия: «Лебеди закатные», «Розы с кладбища», «Зеркала потускневшие». Парнасцем он стал величаться потом (тот же путь проделал Бенедикт Лившиц), но благодарную любовь к Игорю Северянину сохранил до конца жизни. Я предполагаю, что его ненависть к Маяковскому основывалась на грубой неприязни последнего к Игорю Северянину.

Я имел возможность убедиться в том, что Шенгели был хорошим, заботливым другом — и Боже упаси было получить в нем врага!

В дружбе он был бесконечно добр. Вся наша четверка испытала это на себе. Тарковский, в двадцать лет оставшийся без жилья, нашел временный приют в его единственной комнате, спал почему-то, как он мне рассказывал, под столом.

Шенгели привел меня на «Никитинские субботники», рекомендовал меня как будущего участника заседаний. Это была большая квартира в старинном доме на Тверском бульваре, принадлежащая Евдокии Федоровне Никитиной. Во главе длинного стола сидели хозяйка дома, полная, благообразная литературная дама в чепце, Андрей Белый, чья лысына была увенчана ореолом седых кудрей, а синие глаза пылали, как у пророка или гипнотизера, профессор-филолог С. К. Шамбинаго, над монгольским лицом которого половецки чернела академическая ермолка. Пили чай с печеньем. Публика разношерстная, некоторых я уже видел раньше или даже знал: Уткин, Луговской, Георгий Оболдуев, Сергей Бобров (у этих двух был свой маленький литературный салон на Кузнецком мосту), Марк Тарловский, Лидин, Новиков-Прибой, Буданцев. Для нас нашлись места в самом углу у окна, где сидела пара: крутолобая красавица-еврейка и человек лет сорока с необыкновенно выразительным, необыкновенно завораживающим лицом бедуина, одетый в длинный черный пиджак. Шенгели поздоровался, ему ответили небрежным, даже брезгливым кивком. Я тихо спросил: «Кто это?» — «Пастернак с женой», — раздраженно произнес Шенгели. Чета Пастернаков вскоре ушла. Я заметил, что поэт, пробираясь между занятыми стульями, слегка влочил ногу.

Зимой 1930 года, скорее всего, в феврале, в Доме Герцена был объявлен вечер Шенгели. Об этом возвещала афиша в парадной.

Я пришел со своими новыми друзьями — поэтами Марком Тарловским и его женой Ладой Руст, умной, милой, образованной, некрасивой,

старше мужа лет на десять, ближайшей подругой Нины Леонтьевны. Лада была чисто русская, Екатерина Александровна (впрочем, в отчестве не уверен, а теперь уже некого спросить). В аляповатом поэтдекадентском вкусе она избрала себе псевдоним, потом, придя в себя, оставила от псевдонима Руставели первые четыре буквы, а имя Лада за ней закрепилось.

У входа в дом уже стояли Нина Леонтьевна и крупная, широкоплечая женщина, прикуривавшая от спички: поэтесса Софья Парнок. Появился и Георгий Аркадьевич. Лицо его выражало тревогу и обиду: публики не было. Мы неловко молчали. Только у Нины Леонтьевны вырвалось: «Бедный Йорик». То не было знаменитым восклицанием Гамлета: в детстве Георгия Аркадьевича так называли домашние. Шенгели повел себя превосходно, подшучивал над собой, рассказывал о подобных происшествиях, случавшихся с другими литераторами, но видно было, что ему не до шуток.

Почему никто не пришел? Был ли тому причиной трехлетней давности памфлет? Либо в годы, когда в литературных кругах гремели Пастернак, Сельвинский, Луговской, Багрицкий, Тихонов, Светлов, Заболоцкий — столь разные и по манере письма, и по масштабу дарования, — никого не интересовал эпигон традиционного стихотворства? А где были близкие друзья? Как потом выяснилось, у того заболела жена, та заболела сама, третий уехал на охоту в подмосковную глушь.

Минут через двадцать — тридцать, когда стало ясно, что ждать слушателей не имеет смысла, Шенгели, гордо и зло улыбаясь, сказал:

— Пойдем, поужинаем. Угощает герой несостоявшегося вечера.

Ресторан Дома Герцена описан не раз, лучше всех, конечно, Булгаковым («Дом Грибоедова»). Умирающий эпэп медлил расставаться со своей вкусной приманкой.

Шенгели сорвал в парадной афишу со своим именем. Мы спустились вниз, в полуподвал. Скучно освещенный длинный и узкий зал был пуст. Большие мягкие люстры низко озаряли сервированные столики. Мы уселись. Подошел официант с записной книжечкой в кожаном переплете. Шенгели заказывал, не заглядывая в меню, как заведомо. Названия некоторых блюд я услышал впервые. «Что будем пить, — спросил герой несостоявшегося вечера. — Я, как всегда, «Кюрдмир».

Три наши дамы пожелали водки. Тарловский и я к ним присоединились.

Пили, закусывали, болтали, смеялись, у всех на душе было тяжело. Сидевшая рядом с Шенгели Софья Яковлевна Парнок иногда гладила его по плечу. В ее чертах мужская вольтеровская язвительность то и дело сменялась нежной женской беспомощностью.

И вдруг появилось новое лицо. Маяковский. Он вошел в пальто, в кепи, с тростью. Не глядя на нас, на единственный занятый столик, он двинулся в конец зала. Мы слышали, как он шумно снимал пальто, уса-

живался. К нему устремился бородатый важный мэтр. В затихшем зале раздалось: «Бутылку моего вина, пачку моих папирос».

Не в другой, а именно в этот позорный для него вечер Шенгели оказался под одной ресторанной крышей со своим заклятым врагом. И когда? За два месяца до самоубийства Маяковского. Как не поверить в эллинский Рок?

Мне Маяковский не был виден, так как Тарловский, Лада и я сидели к нему спиной, а обернуться хотелось, но было неудобно. Мы продолжали болтать, пить, есть, смеяться, но нервно чувствовали присутствие этого молчащего человека в этот необычный вечер. А что чувствовал Маяковский? Знал ли он в лицо того, кто написал «Маяковский во весь рост», того, кто «молотобойцев обучает анапестам», того, чью фамилию он зарифмовал с издевательским «не в шинке ли»? Знал ли он в своем смятенном состоянии, что скоро, по собственной воле, уйдет туда, откуда никто еще не возвращался?

Маяковский покинул ресторан довольно скоро. Нина Леонтьевна сказала:

— Вы знаете, он был сегодня какой-то особенный. Мне даже стало его жаль. Мне кажется, что у него горе. Будет беда.

Есть умные женщины, наделенные даром предвидения. Я это заметил уже в ранней молодости...

Через год после своего несостоявшегося вечера Шенгели предложил мне поехать с ним и Ниной Леонтьевной в Коктебель к Волошину. Поезд прибывал в Феодосию на рассвете. Мы наняли таратайку. Шенгели удивил меня, заговорив с возницей-татаринном на его языке. Потом он мне объяснил, что по-татарски знает слов сто, не больше. Он хорошо владел английским, французским, немецким, латынью. Он был по-настоящему, по-дореволюционному образован. Интересовался не только гуманитарными науками, но и точными — математикой, физикой, астрономией. Напомню, что он был автором не утративших и ныне своего значения стиховедческих работ «Трактат о русском стихе» и «Техника стиха».

В 1923 году он выпустил драматическую поэму «Броненосец «Потемкин» (в издательстве «Красная новь»). В коротком послесловии автор счел нужным остановиться на проблемах версификации. Он пишет, что белый пятистопный ямб «по словоемкости своей ближе всех прочих подходит к слогуударным константам русского языка, а его пятистопность, ритменная полнота дает возможность обойтись без красозвучия. Следует упомянуть, что в этом метре автор допустил долгие хорямбы и в мужских стихах пиррихизирование последней стопы».

Так-то оно так, есть хорямбы, есть и пиррихизирования, неожиданные для парнасца решения, например, поставить слово «революция», придав ему мужское окончание, в конце ямбической строки, есть точность (книжная) морского словаря и точность (не книжная) феодосийской, севастопольской или одесской топонимики, и есть места поэтические, например, в монологе лейтенанта Семенова:

В глубине России  
Овраги разъедают чернозем,  
Как бы волчанка, и мелеют реки,  
И мутные их воды к нам несут  
Тот хлеб, что не родился. В мутных устьях  
Восходят мели, косы, островки.  
Гниет трава, и воздух полон пара.

Чего же нет? Нет очарования исторического мышления, нет того, что есть в «Борисе Годунове», в «Царе Федоре Иоанновиче», в пастернаковском «1905 году», в ахматовской «Поэме без героя». Все задано: и червивое мясо, и «амальгама индивидуального сознания и классового инстинкта» (из послесловия автора), и оптимизм концовки: «Мы победим: матрос, мужик, рабочий».

Но неужели только неумение мыслить делает поэта не первостепенным? Такими ли уж мудрецами были Дельвиг, Языков, Полонский, Есенин? А какие упоительные поэты! Нет, здесь что-то другое, а что — определить не могу, хотя смутно чувствую.

Почему я вспомнил о «Броненосце «Потемкине»? Наверно, потому, что прибыли в Феодосию, а она часто упоминается в драматической поэме Шенгели.

Мы въезжали на таратайке в еще холодную степь, удаляясь от моря. В воздухе, однако, чувствовалось приближение жары. Чебрец, мята, полынь, виноградники — как под моей родной Одессой, но там земля была ровней. Но вот мы снова повернули к морю, вдали засинела бухта, вот и селенье — болгарское, как сообщил мне Шенгели (после изгнания немцев из Крыма болгар почему-то выслали).

Когда мы приблизились к похожему на корабль дому Волошина, Георгий Аркадьевич мне сказал:

— Все еще спят, но мы здесь свои люди, а вы погуляйте часок, если хотите, искупайтесь в море, покуда я все устрою. Купаются здесь в костюмах Адама и Евы, мужчины — справа, женщины — левее.

Завтрак. Свежее, цвета топленого молока, масло, горячий домашний хлеб, чай. За столом собралось человек пятнадцать. Кроме знакомых мне супругов Тарловских и Шенгели — Алексей Толстой, профессор Десницкий, литературовед Мануйлов, поэтесса Звягинцева, с которой я на всю жизнь подружился, переводчица Надежда Рыкова, две женщины, высокие, плоскогрудые, седые, стриженные по-мужски, как потом оказалось, отличные пловчихи, остальных не помню. Во главе стола сидел Волошин, напротив — его жена Марья Степановна, маленькая, остроглазая. Меня представили Волошину. Он показался мне похожим на памятник Федору-первопечатнику. Шенгели сообщал последние московские литературные новости. Так же, как сейчас, в наше время,

интеллигентные группы писателей негодуют и смеются, узнавая о жестоких или низменных, корыстных поступках своего руководства, — негодовали и смеялись, слушая о рапповских злодеях и невеждах. Волошин относился ко всему добродушной, чем его гости, олимпийски спокойней. Я уже тогда понимал, что он немного актер, но его «правда, так надо играть».

У Волошина был необычный голос: высокий, дребезжащий, удивительный при его мощной фигуре, сменялся низким, густым. Все его называли «Макс». Шенгели был с ним «на ты». Позднее он вспомнит в стихах с жалкой, милой чванливостью:

Ты спокойно входил к знаменитым поэтам эпохи;  
Ты с Валерием спорил, с Максимилианом «на ты»  
Пил согдийским вином, — тех пиров оброненные крохи  
Подбирали другие в свои золотые листы.

Против дома, к тополию, рядом с рукомоиником, был прибит ящик, вроде почтового, самодельный, куда каждый опускал деньги, кто сколько может. На этих деньгах и держалось хозяйство, и кое-что оставалось на зиму. Гонорара у Волошина не было, его не печатали. Не помню, кто мне сказал, что Алексей Толстой, уезжая, всякий раз оставлял Марье Степановне солидную сумму.

Там, где теперь лодочная станция, стояла будка, ее владелец, не то грек, не то караим, жарил шашлыки, варил кофе, торговал невероятно дешевым вином.

И вот в один из вечеров мне сказали, что будут выбирать короля и принца поэзии. Еще мне сказали, что королем принято избирать Волошина. Как это получалось, я не знаю, в те годы еще не происходили всеобщие выборы, советского опыта у меня не было. Число претендентов было ограничено: Волошин, Шенгели, Тарловский. Билетики опускались в «амфору», как объяснил руководивший выборами профессор Десницкий. Я опустил два билетики: в короли выдвигал Волошина, в принцы — Шенгели. Результаты голосования: король — Волошин, принц — Тарловский.

Шенгели не сумел и не хотел скрыть обиду, ушел с Ниной Леонтьевной.

...Через год после незабвенного Коктебеля я пришел на Малый Ржевский к Шенгели. Он, всегда смуглый, был темен, черен. Нина Леонтьевна плакала. — Умер Волошин, ушел Макс, — вздрагивающим голосом сказал Шенгели.

Не будучи избранным в принцы, Шенгели по-детски обиделся на Марка Тарловского. Мне рассказывали, что в свое время Тарловский пришел к нему как ученик: «бей, но выучи». Но получилось так, что, по крайней мере в литературной среде, пусть на мимолетный миг, вспых-

нула слава Тарловского, в то время как имя Шенгели угасало. Напомню, что Максим Горький, открывая своим предисловием «Библиотеку поэта», цитирует в первом ее томе стихотворение Марка Тарловского, правда, без восторга, даже поругивая, но с несомненным интересом к содержанию. «Иронический сад», первая книга Марка Тарловского, была замечена любителями поэзии. Год или два он царил на «Никитинских субботниках». У него была поэма о кремлевской пушке. Мне запомнилось:

Ошибочно думать, что пушка нема,  
Что пушка не может ответить сама.  
Попробуйте камнем, заставьте греметь,  
Заставьте дрожать беззащитную медь,  
И пушка ответит с кремлевской твердыни  
На старо-французском, с оттенком латыни...

Неплохо, не правда ли? И тут произошла странная вещь. Шенгели на ту же тему, тем же размером написал «Пушки в Кремле», напечатал это длинное стихотворение в своем сборнике «Планер», не упомянув о заимствовании у своего ученика. Тарловский, крайне обидчивый, уязвленный в последние годы своей ненужностью литературе, никогда мне на это не жаловался. Поклонники Шенгели считали, что его «Пушки» лучше Тарловского:

Пустынная площадь, покорная взорам,—  
Ветров и туманов распахнутый форум:  
Здесь консулы бури, сенаторы вьюг  
В любой амбразуре сомкнули свой круг.

История с пушками осталась для меня загадкой...

Шенгели много переводил. Ему близки были Леконт де-Лиль, Эредиа, Роллина. Его привлекали пышный Гюго и урбанист Верхарн. Но как раз урбанистские вещи Верхарна ему редко удавались. Зато он, поэт-живописец, почувствовал фламандские стихи бельгийца:

В столовой, где сквозь дым ряды окороков,  
Колбасы бурые, и медные селетки,  
И гроздь рябчиков, и гроздь индюков,  
И жирных каплунов чудовищные четки,  
Алея, с черного свисают потолка,  
А на столе, дымясь, лежат жаркого горы  
И кровь и сок текут из каждого куска,—  
Сгрудились, чавкая и грохоча, обжоры...

Плотно, вкусно. Другие переводы, за исключением поздних, пока не напечатанных, — недурны, но и только. В них нет главного: ни один из них не становился явлением русской поэзии. А среди поздних есть прекрасные.

Но вот возникла новая отрасль перевода, новая в самой своей структуре и свойственная только нашему Государству. Не в том дело, что стихи переводились с подстрочников. Жуковский, не зная греческого, персидского, санскрита, переводил с немецких подстрочников «Илиаду», «Наль и Дамаанти», «Рустема и Зораба» Фирдоуси. С подстрочников переводил и Бальмонт — «Витязя в тигровой шкуре» Руставели и драмы Калидасы (санскрит). Новая отрасль перевода отличалась своей единственной целью — служением ленинско-сталинской национальной политике. Не случайно, что перевод нового типа стал развиваться после ликвидации РАППА и в канун создания единого союза писателей, единой многонациональной литературы, хотя литература не может быть многонациональной. Предмет, достойный специального исследования, во многих отношениях весьма плодотворного, но здесь не место на нем останавливаться.

Прежде всего, конечно, ради заработка, но и с искренним увлечением занялись переводческой деятельностью Антокольский, Заболоцкий, Пастернак, Тихонов. Переводить начали с языков старописьменных — грузинского, армянского, со славянских — украинского и белорусского. Особенно привлекательна была грузинская поэзия с ее высокой культурой, с близостью ее старейшим символизму, да и поездки в эту республику сказочной красоты были весьма заманчивы. Пастернак, для которого творческая связь с Грузией стала важной страницей его трудов, писал — как всегда, умно и наглядно:

Мы были в Грузии. Помножим  
Нужду на нежность, ад на рай,  
Теплицу льдам возьмем подножьем,  
И мы получим этот край.

В Гослитиздате, самом крупном издательстве Государства, была создана редакция литератур народов СССР. По разделу поэзии в качестве редактора (единственного, штаты тогда еще не раздувались) был приглашен Шенгели. Он-то и привлек нас к переводам — Петровых, Тарковского, Штейнберга, Звягинцеву, меня и других поэтов, постепенно лишившихся возможности печатать собственные стихи — Александра Кочеткова, Владимира Державина, Константина Липскерова. Кто из нас знал, что эта работа станет на долгие десятилетия нашей судьбой?

Что же касается Шенгели, то явно улучшалась материальная, бытовая сторона его жизни. Начать с того, что они с Ниной Леонтьевной вырвались из комнаты в детском саду, получили отличную трехкомнатную квартиру в доме сотрудников ТАССа на Первой Мещанской (те-

перь — проспект Мира). Квартиру устроил Сергей Малашкин, автор шумевшего в молодые советские годы романа «Луна с правой стороны», посвященного сексуальному буму в комсомольской среде. Малашкин был старый большевик, начинал партийную деятельность вместе с Молотовым, с помощью которого и была получена квартира. Я бывал в ней часто, слушал стихи хозяев и читал сам. Особенно мне памятна эта квартира потому, что, уже после смерти Шенгели, я там читал Нине Леонтьевне и жившей у нее Ахматовой свою поэму «Техник-интендант», и Анна Андреевна заплакала. Она так и надписала мне на одной из своих книг: «А один раз плакала».

Благодаря сотрудничеству в Гослитиздате Шенгели удалось выпустить, том за томом, свои переводы сочинений Байрона, приносившие изрядный доход. Переводы, увы, более чем посредственные, скучно-буквалистские. Впрочем, Анна Ахматова писала Нине Леонтьевне: «На днях перечитывала его «Дон Жуана». Какая благородная и огромная работа!» А надо сказать, что Анна Андреевна редко хвалила переводы поэтов-современников. Мне, например, запомнились ее положительные отзывы только о переводах Лозинского, Пастернака, Петровых.

Самой большой жизненной удачей Шенгели во время его сотрудничества в Гослитиздате было издание в 1935 году сборника избранных его стихов «Планер». Это была удача необыкновенная, потому что в те годы Гослитиздат выпускал мало стихотворных книг русских поэтов, только знаменитостей, и Шенгели не по чину попал в этот ряд.

«Планер» вышел через двенадцать лет после «Раковины». Все эти годы Шенгели редко печатал свои оригинальные стихи. Открывало сборник стихотворение, давшее название всей книге. Хотя оно может нас отвлечь чисто брюсовским преклонением перед достижениями техники, в нем есть очарование ритма:

Небо на горы брошено,  
Моря висит марина  
Там, где могила Волошина,  
Там, где могила Грина.  
Именно над могилами  
Тех, кто верил химерам,  
Скрипками острокрыльями  
Надо парить планерам.  
Там, где камни ощерились,  
Помнящие Гомера,  
Надо, чтоб мальчики мерялись  
Дерзостью глазомера...  
Иначе требовать не с кого,  
Иначе не нужны нам  
Радуги Богаевского,  
Марева по долинам.



Читатель заметит, что Шенгели, всю жизнь преклонявшийся перед Волошиным, внезапно от него как бы отрекается, потому что тот «верил химерам». Каким химерам? Предначертаниям Бога? Тайнственности Рока? Нехорошо, некрасиво. Предисловие автора и того хуже. Оно принадлежит перу перепуганному: «Перестройка творческого метода,— заранее кается Шенгели,— мною еще не осуществлена с достаточной полнотой... Что же, не знаю я, что лишь пролетарская революция может ликвидировать мир частной собственности? Знаю». Но, признается в своей слабости автор, он пока еще не может «с надлежащей конкретностью изобразить развертывание и реализацию революционной воли класса».

Бедный поэт! Как чувствуется в этом наборе трафаретных фраз его бессилие, его страх, его желание печататься. Шенгели это сам хорошо понимает. Как бы желая перед читателем оправдаться, он пишет стихотворение «Лыстец». Пушкин внимает капральскому басу Николая I: «Пиши,— твое отечество и мой престол прославишь». — «А, право? — думает Пушкин. — Может быть. Что, если станс-другой кого-нибудь из тех, товарищей кандальных, хоть в чем-нибудь спасет?»

Нет, никого не спасет шенгелевский станс,— и его самого не спасет от прижизненного забвения. Не та эпоха, не те обстоятельства, да и поэт не тот.

В «Планере» есть вещи, перепечатанные из «Раковины» и «Норда». Из новых самая значительная и по содержанию, и по объему поэма «Пиротехник». В ней двадцать глав, и каждая снабжена эпиграфом в подлиннике и в дословном переводе — из Овидия, Брийа-Саварена, маркиза де-Кюсси, Томаса Мора, Гюго, Эредиа, Бодлера, Верлена, Уэллса, — есть даже изречение Гекльберри Финна: «Каждая баба может заездить человека». Суть дела в том, что переплетчик Аваланш, переплетчик-художник (к слову: Шенгели сам искусно переплетал книги), возненавидев мир буржуа, «Париж дипломатов, рантье, журналистов, лореток», решает на безумный шаг: бросает бомбу в ресторан. Приговор ясен... Перед нами проходит прошлое Аваланша. Нарисованы некоторые его клиенты. Вот глава правительства. Броская строфа:

Лоб — как булка; глаза — точно устрицы в масле; ощечья  
Поросычим подобны отварным окорочкам;  
Рачья шейка губы шевелится сквозь пегие клочья  
Кирасирских усов, угрожающих штатским очкам.

Вот и тот, кого «не будем называть». Его описание начинается двусмысленной строкой: «Лет под восемьдесят,— а стоит как пивная бутылка». Это Дантес. Его путь

Из дырявого замка — в кипение жизненных каверз,  
От баронской картошки — в каскады цветочных гирлянд,

И в карьерном карьере — в орлянку с Фортуною: аверс — Герцогине Беррийской, а реверс — послу Нидерланд.

Намек в последних двух строках прозрачный. Приведу и заключительную строфу:

Пиротехника! Снег бертолетовой соли и магний,  
Прах селитры и серы. Невзрачный кристалл для сурьмы,—  
И прекрасную голову вскинет смеющийся Агни,  
Древний друг человека, ему поборающий тьмы.

Я с умыслом цитирую так щедро. Пусть читатель увидит, как богат словарь поэта, как остр его глаз, гибок синтаксис, изобретательны и свежи, при своей традиционности, рифмы. Но странное дело: любишь стихом, а чувствуешь, что все это уже читал раньше — у Бальзака, Золя, Мопассана, Пруста, Жида. Но у них действительно индуистский бог Агни «поборол тьмы», а здесь... Какая дьявольщина таится в литературе! Золя, Гюго, наш Куприн нередко пишут из рук вон плохо, а есть в них сила, они умерли, а их продолжают читать, они влекут к себе, а у другого — все качества, и то есть, и это, но не дано его работе долготы жизни, и наступает суд Времени, и оправдательный вердикт выносятся и грубому «Чреву Парижа», и многословным «Отверженным», и пошловатому «Гранатовому браслету», а изысканное перо, полное блеска, уносит река забвения. О, если б знать, что так бывает!

Каждая стихотворная глава «Пиротехника» заканчивается прозаической ремаркой. В сущности, мы могли бы узнать содержание поэмы, ограничившись прочтением этих ремарок. Именно в них — двигательные силы поэмы, ее кочегарка, машинное отделение, а все стихотворные главы — только нарядные, первого класса каюты. Прием примечательный, но не упряталось ли в нем неверие в способность стиха подчинять себе любую прозаическую задачу, — как это явственно видится нам в непохожих друг на друга поэмах Пушкина, Некрасова, Ахматовой?

Есть в книге «Планер» и другая эпическая вещь: «Пятый год. Отрывки из поэмы». Не понимаю, как автор решился напечатать эти отрывки после пастернаковской поэмы на ту же тему, хотя и написал их, может быть, до нее. Не говоря уже о новом, изумительном ритме, вызвавшем сотни подражаний (кстати, Шенгели, с мастерством стиховеда, пользуется этим ритмом, слегка его аранжируя, в «Пиротехнике»), у Пастернака — поэзия и правда жизни, рождающиеся в слиянии музыки, живописи, мысли, связь мальчика («Мне четырнадцать лет, через месяц мне будет пятнадцать»), «О, куда мне бежать от шагов моего божества») — с историей родины: «Крепостная Россия выходит с короткой приструнки на пустырь, и зовется Россией после реформ».

А «Пятый год» Шенгели — это стихотворные примечания к официальному учебнику истории:

Спустя двенадцать лет,  
Великий ледоход побед  
Нам зазвучал весенней новью!

Мне кажется, что Георгия Аркадьевича мало интересовала первая русская революция. Он и не собирался ее осмыслить как художник. Для чего же надо было слагать стихи об одном из самых важных и грозных событий в истории России? Неужели только для того, чтобы получить возможность написать такой, действительно отличный натюрморт:

В Охотном

Бруски мороженой наваги, бревна  
Распиленного навкозь балыка,  
В жестянках голубых сурьмянный блеск  
Зернистой дроби, паюсный шагрень,  
В кленовых бочках клювовые бусы,  
Нефрит моченых яблок, хризопраз  
Ядреных огурцов под эстрагоном,  
И — грудой восковые поросята  
С развратной ранкой в горле сквозь жирок.

Ничего не скажешь, хороша эта развратная ранка, но Клио женщина мудрая, ее на нефрите моченых яблок не проведешь, и она, надменная и простая, прошла, так и не заметив этого натюрморта, — навстречу «Реквиему» Ахматовой, «веку-волкодаву» Мандельштама, «Августу» Пастернака, в которых — живая, страдающая душа России. Скорее уже внимание Клио мог бы к себе привлечь «Поручик Мертвецов», перепечатанный в слегка искаженном виде в «Планере» из «Раковины». Есть в новом сборнике прелестные маленькое стихотворения. Например, о шпионке, — с одной только рифмой на все стихотворение, чей ритм пленяет новым музыкальным решением:

Панамская соломка  
И ленты ультрамарин,  
И глупенькая забота  
О стрелках вдоль чулка.  
И в тужельку мотоциклетки  
Легко ложится она,  
И двести тысяч взрывов  
Вдаль унесут ее...  
И в самом дальнем кармашке,  
В пудренице стальной,  
Спрятана фото пленка  
В марку величиной.

Поэт понимает, что он из последних, что «уже навек умирает Врубель»:

Друзья! Мы последние, кто видали  
Этих дымных глаз непреклонную муку,  
Этих крыл остывающие эмали  
И захлестнутую по локоть руку!

Да, он хорошо сказал о себе, тем-то он для нас и дорог, что он из «последних», из тех, кто видел, как «с грунтом слился Демон крылатый, чтобы бунт утонул в желчи и мраке». Отважная мысль! Не для того ли, чтобы она стала частью книги, написал он о том, как в город, где были тиф, и лед, и блокада, где все кончилось: патроны, уголь, хлеб,— вдруг, прорвав блокаду, прибыл бронепоезд. Жители устремляются на вокзал.

Протискавшись, на погнутой броне  
Я прочитал впервые имя «Сталин»...  
Оно как символ прозвучало мне.

Какая чушь! Кто в годы гражданской войны, разрухи, голода, болезней знал имя Сталина? Как оно могло прозвучать символом, когда оно тогда ничего и никого не означало? «Польсти, польсти!» Может быть, этот сонет помог выходу в свет «Планера», но не помог автору сколько-нибудь прочно утвердиться в государственной литературе. Теперь, наверно, обратили бы благосклонное внимание на то, что поэт, принадлежавший к той общественно-литературной прослойке, с какой был связан Шенгели, пишет стихотворение, восхваляющее руководителя Государства, но в 1935 году, когда многие писатели выстраивались в длинную очередь, чтобы влажными от умиления губами приложиться к заду Сталина, а более ретивые их отталкивали, выталкивали,— тогда это стихотворение казалось ненужным, в нем не было сливочного масла искренности, сама его сонетная форма ощущалась как буржуйское канотье, и чем-то буржуйским пахивало от слова «символ».

К 25-летию его литературной деятельности вышли «Избранные стихи» Георгия Шенгели. Кроме уже упомянутой поэмы «Ушедшие в камень» новых вещей там всего лишь несколько. В дарственной мне надписи автор называет этот сборник «клоком седины». Ему было сорок пять лет, по теперешним понятиям — «молодой поэт». Но сугубо печальна его медитативная лирика:

Поздно, поздно, Георгий!.. Ты пятый десяток ломаешь,  
Стала зубы терять клинописная память твоя,  
Слово стало черстветь...

Переводы Шенгели, печатавшиеся в большом (слишком большом) количестве, были даже для его коллег мало привлекательны. Современники его покинули. Младшие друзья постепенно от него удалялись, теряли к нему интерес, а если говорить о старших, то Мандельштам был арестован, Ахматова приезжала в Москву редко. Обоих Шенгели боготворил.

Когда я познакомился с Анной Андреевной, как-то зашла речь о Шенгели. Оказалось, она ценила его как друга и как поэта. Ей очень нравились его переводы из Верлена (до сих пор не изданные). Она находила, что они выше старых переводов Сологуба, и ставила их в один ряд с известными переложениями Пастернака. Отзвуки верленовских повторов, с их гипнотической мелодией, слышала Ахматова в таком стихотворении Шенгели:

Мы живем на звезде. На зеленой.  
Мы живем на зеленой звезде,  
Где спокойные пальмы и клены  
К затененной клонятся воде.  
Мы живем на звезде. На лазурной.  
Мы живем на лазурной звезде,  
Где Гольфштрим извивается бурный,  
Зарождаясь в прозрачной воде.  
Но кому-то захочется славой  
Прогреть навсегда и везде,—  
И живем на звезде, на кровавой,  
И живем на кровавой звезде.

Шенгели был одним из немногих московских литераторов, выказавших Ахматовой сердечное — и что очень важно — материальное участие после отвратительной речи Жданова. На миг отвлечемся от шенгелиевской темы. Мало сказать о речи Жданова, что она отвратительна: она бессмысленна. Причем даже с точки зрения интересов Государства. После войны, когда прежнее, дореволюционное значение в идеологических установках приобрели слова Русь, Россия, казалось бы, надо было гордиться патриотической гордостью тем, что за все двадцать веков нашей эры единственная в мире женщина, ставшая великим поэтом, была русская. К тому же не было причин волноваться: среди стихов, опубликованных Ахматовой, не нашлось ни одного антисоветского. Речь, произнесенная по приказу Сталина, была, в сущности, направлена против России. Утробная злоба мешала хитрому деспоту видеть предмет во всех его измерениях.

В последний год войны мне посчастливилось провести несколько дней в Москве. Я навестил Шенгели, заночевал у него. Я рассказывал ему о военном быте, он жадно меня слушал. Не мог я не коснуться еврейской катастрофы. Мне стало кое-что известно о лодзинском гетто.

Глава гетто, председатель юденрата, получивший от немцев титул «Старейшина (Der «Alteste») лодзинских евреев», был человек властолюбивый и жестокий. В гетто были даже пущены в обращение деньги, на которых был изображен его портрет. Он рабски служил оккупантам, участвуя в депортации жертв, обреченных на смерть в газовых камерах, пока сам не стал одной из этих жертв.

Уже после войны Шенгели прочел мне пьесу, написанную на рассказанный мной сюжет. Напечатать ее не удалось. Я не могу утверждать, что пьеса меня поразила красотой или силой художественного открытия, но бесспорно то, что она заслуживает сосредоточенного внимания читателей, а может быть, и зрителей.

Шенгели скончался в ноябре 1956 года. В Доме литераторов гроб не был выставлен. В «Литературной газете» был напечатан некролог. Провожавших поэта в последний путь было немного, но все же нас было больше, чем в тот несостоявшийся вечер Шенгели в 1930 году. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Я уже упоминал, что надгробную речь произнес Юрий Олеша. Впоследствии (в феврале 1958 года) он писал:

«Одним из тех, кто был для меня ангелами, провожавшими меня в мир искусства, и, может быть, с наиболее пламенным мечом, был именно Георгий Шенгели... Я славлю его в своей душе навсегда!.. Я знал в своей жизни поэта — одного из нескольких — странную, необычную, прикасающуюся к грандиозному фигуру».

Олеша, возможно, выразил в немногих словах то, что я так длинно пытаюсь доказать: истинный поэт, пусть небольшой, отличается от виршписца тем, что он «прикасается к грандиозному».

Примечательно и то, что Олеша, преклонявшийся перед талантом Маяковского, так высоко и выразительно определил значение в поэзии недруга Маяковского.

Была, как водится, создана комиссия по литературному наследству Шенгели. Ее председателем стал Сергей Аркадьевич Векшинский, соученик Шенгели по гимназии. Он не был литератором, но зато академиком, создателем ряда электронных приборов, Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии. Нина Леонтьевна предложила его кандидатуру, потому что надеялась, что его подпись под различными петициями повлияет на положительный ход дела. Надеждам не суждено было осуществиться. Кроме Векшинского в комиссию вошли известный литературовед и близкий приятель Шенгели Леонид Петрович Гроссман, Сергей Малашкин (была надежда и на него, как на ветерана партии), Тарковский, я, Нина Леонтьевна. Может быть, я кого-нибудь забыл.

Все члены комиссии были деятельны. У всех были знакомства, связи в издательствах, в редакциях журналов. Но усилия наши не имели успеха. Не только оригинальные стихи, но и переводы Шенгели отвергались. И происходило это не потому, что имя Шенгели вызывало раз-

дражение: его нападки на Маяковского были давно забыты, никого не интересовали. Творчество Шенгели казалось начальникам нашего стихотворства неэмоциональным, мертвым, позавчерашним, попросту ненужным. Не тот голос, не тот словарь. То же самое случилось с Александром Кочетковым. Его «Баллада о прокурорном вагоне» («С любимыми не расставайтесь») облетела всю страну. Двадцать лет понадобилось его друзьям, чтобы добиться издания сборника избранных его стихов и поэм. С точки зрения официальной идеологии у Кочеткова нет ничего порочного. Но сама структура его стиха (кстати, только внешне традиционная, в действительности же насыщенная взрывчатостью второй половины нашего столетия), круг тем, его мироощущение было чуждым, враждебным стихотворцам, власть имеющим. По этой же причине от русского читателя оказался насильственно отторгнутым Иосиф Бродский — а разве это не ущерб престижу нашей поэзии?

Нам удалось в 1960 году переиздать только «Технику стиха» Шенгели (с предисловием Л. Тимофеева). Я уже писал о важности стиховедческих работ Шенгели. Как-то я присутствовал на лекции А. Н. Колмогорова, посвященной применению методов теории вероятности к исследованию стихосложения. Академик с большим уважением отозвался о трудах Шенгели в этой области.

Вот уже тридцать лет минуло со дня смерти Шенгели, а читатель не имеет ни одного сборника поэта. Между тем, по данным печати, у нас ежегодно выпускается три тысячи стихотворных книжек. Но среди них нет места для стихов Шенгели.

И в то же время кое-что изменилось. Два-три поэта старшего поколения, связанные с русской культурой, стали вспоминать стихи Шенгели. Его поклонники нашлись и среди молодых поэтов, спокойно, даже весело не печатающихся. В конце 1978 года редактор сборника «День поэзии» Л. Васильева предложила мне составить подборку стихов Шенгели и написать несколько вступительных слов. Планы у Васильевой были обширные: она задумала опубликовать и подборку Гумилева. Стихи Шенгели и мое маленькое предисловие были, кажется, набраны, но тут разразилась метропольская история, на меня наложили запрет на профессию, все мои работы были вышвырнуты из издательских планов, отъединены от наборных станков, заодно выбросили из «Дня поэзии» стихи Шенгели.

Но, слава Богу, русская поэзия живет не один день и не единым днем. Через несколько лет все же появились в ежегоднике «День поэзии» стихи Шенгели (вступительные слова А. Межирова), и среди них такое значительное, как «Жизнь». Для поэта жизнь — женщина, которой под шестьдесят, когда ему шесть. Идут годы, взаимоотношения меняются, и вот уже поэту шестьдесят, а жизнь — младенец. А когда поэт был полон сил, то получалось так, что

...Ей в глаза, как в кодекс уголовный,  
В минуту пауз медленно глядишь.

Я помню, как мы, члены комиссии, разбирали бумаги Шенгели, и Леонид Петрович Гроссман, сам когда-то начинавший как поэт, убедительным адвокатским голосом читал эти стихи, потом сказал (ему уже было много лет):

— Я не доживу до того дня, когда «Жизнь» напечатают.

Мы все подумали, что он прав. Он не дожил до этого дня. А «Жизнь» все же напечатали. И Государство не рухнуло. Да и что в этом стихотворении было вредным для Государства? Откуда страх? Ответить не трудно...

Нет сомнения в том, что имя Шенгели останется в истории русской словесности. А будет ли оно жить в живой, никогда не умирающей нашей поэзии? Не знаю. Уверен лишь в том, что еще далеко Шенгели до вечера, еще не занялось его утро.

«Поэзия есть Бог в святых мечтах земли». Формула Жуковского, переводчика немецкой пьесы «Комоэнс», прочнее, может быть, формул Ньютона и Эйнштейна. Когда поэзия только небесна, она холодна — примерами могут служить произведения иных восточных, суфийских поэтов, а у нас — Хомякова, автора нескольких отличных стихотворений, но истинный его талант выразился в религиозно-философских сочинениях. Когда поэзия только земная, она влачится в пыли. И лишь тогда, когда из нашей грешной земной юдоли она возносится к горней чистоте, — земная на небесах, поэзия обретает прочность и долготу. Нет на земле силы, которая могла бы противостоять формуле Жуковского, как нет на земле силы, которая могла бы изменить ход созидания всего живого. Не мы создаем — а Создатель, и только Он. Можно изобрести новые способы выделывания кукол, а дети продолжают рождаться так же, как родились Каин и Авель. Бессмысленным был призыв современного поэта — перестать жить законом, «данным Адамом и Евой». Это невозможно. Даже при самодержавном безверии поэзия — подножье той горы, вершиной которой является молитва.



## СОДЕРЖАНИЕ

Угль, пылающий огнем . . . . .	3
Вечер Шенгели . . . . .	24

ЛИПКИН Семен Израилевич

УГЛЬ, ПЫЛАЮЩИЙ ОГНЕМ

*Зарисовки и соображения*

Редактор П. В. Катаев

Технический редактор Т. Я. Ковыненкова

---

Сдано в набор 10.11.90. Подписано к печати 14.12.90. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать.  
Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,12. Тираж 94000 экз.  
Заказ № 3040. Цена 10 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени  
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва,  
А-137, ул. «Правды», 24.